

Романс Нюпа
Гюнтеркелен



Клеймо

Annotation

Однажды в детстве Иффет услышал легенду о юноше, который пожертвовал жизнью ради спасения возлюбленной. С тех пор прошло много лет, но Иффета настолько заворожила давняя история, что он почти поверил, будто сможет поступить так же. И случай не заставил себя ждать. Иффет начал давать частные уроки в одной богатой семье. Между ним и женой хозяина вспыхнула страсть. Однако обманутый муж обнаружил тайное место встреч влюблённых. Следуя минутному благородному порыву, Иффет решает признаться, что хотел совершить кражу, дабы не запятнать честь любимой. Он повторил поступок юноши из легенды, но теперь на нём стоит клеймо. Для всех он - вор...

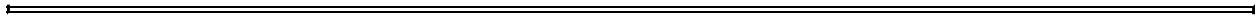
- [Решад Нури Гюнтекин](#)
 -
 - [Глава первая](#)
 - [Глава вторая](#)
 - [Глава третья](#)
 - [Глава четвёртая](#)
 - [Глава пятая](#)
 - [Глава шестая](#)
 - [Глава седьмая](#)
 - [Глава восьмая](#)
 - [Глава девятая](#)
 - [Глава десятая](#)
 - [Глава одиннадцатая](#)
 - [Глава двенадцатая](#)
 - [Глава тринадцатая](#)
 - [Глава четырнадцатая](#)
 - [Глава пятнадцатая](#)
 - [Глава шестнадцатая](#)
 - [Глава семнадцатая](#)
 - [Глава восемнадцатая](#)
 - [Глава девятнадцатая](#)
 - [Глава двадцатая](#)
 - [Глава двадцать первая](#)
 - [Глава двадцать вторая](#)

- [Глава двадцать третья](#)
- [Глава двадцать четвёртая](#)
- [Глава двадцать пятая](#)
- [Глава двадцать шестая](#)
- [Глава двадцать седьмая](#)
- [Глава двадцать восьмая](#)
- [Глава двадцать девятая](#)
- [Глава тридцатая](#)
- [Глава тридцать первая](#)
- [Глава тридцать вторая](#)
- [Глава тридцать третья](#)
- [Глава тридцать четвёртая](#)
- [Глава тридцать пятая](#)
- [Глава тридцать шестая](#)
- [Глава тридцать седьмая](#)
- [Глава тридцать восьмая](#)
- [Глава тридцать девятая](#)
- [Глава сороковая](#)
- [Глава сорок первая](#)
- [Глава сорок вторая](#)
- [Глава сорок третья](#)
- [Глава сорок четвёртая](#)
- [Глава сорок пятая](#)
- [Глава сорок шестая](#)
- [Глава сорок седьмая](#)
- [Глава сорок восьмая](#)
- [Глава сорок девятая](#)
- [Глава пятидесятая](#)

- [notes](#)

- [1](#)
- [2](#)
- [3](#)
- [4](#)
- [5](#)
- [6](#)
- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)

- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)



Решад Нури Гюнтекин
1924

Клеймо

перевод Леонида Ивановича Медведко

Глава первая

Августовская ночь и праздничное торжество - это и есть мои первые воспоминания детства. Теперь мне кажется, что всё это было не наяву, а в сказке, услышанной давным-давно, в волшебной сказке, оставившей в моей памяти неизгладимый след.

Огромный сад, без конца и края, будто совсем в другом мире. Меж деревьев - разноцветные фонарики. Ослепительно-белые узкие тропинки. Шумная, пёстрая толпа людей. Яркие вспышки ракет и рассыпающиеся в небе разноцветные огни фейерверка. Фантастический мир, в котором только свет и тьма! И мне иногда представляется, что я родился именно в ту ночь, - из бездны вечного мрака.

Матери я не помню. И даже не знаю, когда она умерла. Но в ту ночь она была рядом со мной. Меня держала на руках белокурая женщина. Может быть, это была моя мать. А может быть, я всё выдумал, чтобы не чувствовать себя несчастным сиротою.

Праздничный августовский вечер запомнился не только мне. Он оказался знаменательным для всей нашей семьи. Моего отца - мы величали его не иначе как паша^[1]-батюшка - султан назначил в тот день визирем, вверив ему министерство внутренних дел. А моя старшая сестра, ныне уже покойная, стала невестой.

Я почти не помню нашего большого дома за городом, в Эренкёе.

Спустя много лет мы однажды приехали в Эренкёй к знакомым, и мне показали тогда сад, огороженный низкой каменной стеной. Жалкий сад - совсем без травы, лишь кое-где тощий кустарник вперемежку с увядшей лавандой да редкие, чахлые сосенки, пожелтевшие от пыли. В глубине сада - ветхая, облупившаяся беседка.

- Когда ты был маленьким, - сказали мне, - мы жили вон в том доме. Потом его продали.

А вот другой наш дом в старой части Стамбула, в Аксараяе, я помню очень хорошо, - каждый уголок и закоулок, всё-всё помню. Если мне случается бывать в тех краях, я стараюсь обязательно заглянуть в наш квартал. Против того места, где находился наш дом, стоит одинокий платан. От моего прежнего знакомого сохранился один ствол - все ветки спилены.

Я всегда останавливаюсь около этого дерева, хотя бы на несколько минут. На противоположной стороне улицы раньше теснились

одноэтажные старые домишки, кирпичные и деревянные. От этих домов не осталось теперь и следа, да и я их смутно помню. Зато белый величественный фасад нашего особняка с красивой резной галереей, высокую стену, которая тянулась от угла улицы до самого колодца, я вижу как наяву, словно они сейчас передо мной. Вот широкие ворота с низким сводом, и в них двустворчатая дверь. А дальше уютный внутренний дворик, где даже в самые жаркие дни всегда прохладно и тихо.

Я поднимаюсь по широкой и пологой лестнице в селямлык - мужскую половину, и сразу попадаю в другой мир. Голубые и красные стены, низкие потолки с поблекшей от времени позолотой, длинные коридоры с хрустальными люстрами, пустынные, мрачноватые комнаты с тяжёлыми дамасскими занавесями на окнах.

Я брожу по этим комнатам, и ничто не ускользает от моего взгляда. И хотя я брожу по воображаемому дому, я всё помню до мельчайших подробностей. В одной из комнат я останавливаюсь перед дощечкой, на которой вязь персидского изречения похожа на таинственный рисунок. Тогда я не умел ещё читать, но этот рисунок так прочно врезался в мою память, что, кажется, сейчас, спустя много лет, я мог бы по слогам произнести персидский текст, начертанный на дощечке.

Из передней селямлыка на верхний этаж, где расположена женская половина дома, ведёт узкая тёмная лестница, которая упирается в застеклённую зелёным непрозрачным стеклом дверь. Не знаю почему, но мне кажется, что все самые важные события моего детства проходили перед этой небольшой дверью.

По ночам в месяц рамазана в просторной передней селямлыка собирались все домашние, чтобы молиться и слушать чтение Корана. И здесь, около стеклянной двери, на ступенях лестницы стоял я со своей няней Кямияп-калфой^[2] и, как все, воздев руки, произносил шёпотом непонятные мне слова молитвы.

Через эту дверь в день свадьбы вывел свою невесту мой старший брат, ныне тоже уже умерший. Белое покрывало невесты, помню ещё, зацепилось за дверной косяк. Старший брат стоял на лестнице и горстями бросал монеты в толпу гостей, собравшихся внизу, в передней.

Перед этой дверью, отправляясь первый раз в школу, мы с братом Музаффером целовали руку отцу. На головах у нас красовались усыпанные блёстками башлыки, а через плечо висели нарядные сумки, расшитые бисером.

Через эту дверь однажды вынесли завёрнутое в белый саван тело Суада, моего младшего брата, который умер совсем неожиданно. Я был

всего на год старше его. И, наконец, в ту ночь, когда загорелся наш дом, Кямияп-калфа схватила меня на руки, кинулась по лестнице и, споткнувшись, упала у этой двери.

Воспоминания далеких, невозвратимых дней чередой проходят перед моим взором и отзываются в сердце сладостной, щемящей болью.

Стоит мне вот так постоять под платаном всего не-сколько минут, и я снова чувствую себя прежним Иффетом^[3].

Глава вторая

Моя мать - я узнал об этом уже потом - была хорошей хозяйкой, расчётливой, бережливой. После её смерти всё в доме пошло кувырком. Отец хозяйством не интересовался, мой покойный старший брат был страшный мот и гуляка, а сёстры вообще ни во что не вникали. И поэтому все мы оказались в кабале у невежественных дядек-воспитателей и вороватых управляющих. Они и вершили всеми делами в доме. Даже мне это было ясно.

Раз в две недели отец отправлялся во дворец, а все остальные дни проводил в своей комнате за чтением толстых, увесистых томов арабских и персидских книг.

Был у нас учитель, наш друг и наставник, Махмуд-эфенди^[4]. Мне казалось, будто он всегда был в нашем доме как член семьи. Махмуд-эфенди учил меня и брата Музаффера. Жил он скромно, даже бедно в своем маленьком домишке в Сарыгюзеле. Когда-то, говорят, Махмуд-эфенди носил чалму и обучал в мечетях чтению священных текстов. Уже потом, при нас, он стал зарабатывать на жизнь частными уроками в богатых домах.

Отца своего я видел редко. Это был крепкий и высокий старик с величественной осанкой. Из-под белой ермолки-такке на широкие плечи ниспадали длинные, редкие волосы с проседью; жёсткая косматая борода, крупный мясистый нос на большом красном лице внушали мне скорее страх, чем нежность. Я не решался заглянуть отцу в глаза, - огромные, чёрные, они грозно сверкали из-под густых, лохматых бровей.

Со мной отец никогда не разговаривал. Редко, очень редко жаловал он меня своим вниманием: схватит вдруг за подбородок или больно похлопает по плечу - это было у него высшим знаком благоволения.

Он мог весь день просидеть в углу на тахте, завернувшись в шерстяной плащ, листая старые книги или читая вслух звонкие персидские двустипиши нашему учителю Махмуд-эфенди, который сидел перед ним в смиренной позе. Именно таким сохранился отец в моей памяти.

Меня вырастила старая черкешенка, кормилица моей матери, Кямияп-

калфа. Она заменила мне мать, и я очень привязался к ней.

На верхнем этаже особняка находилась небольшая светёлка, окна которой фонарём выходили в сад. Мы часто уединялись в этой комнатухе с Кямияп-калфой, порой даже трапезничали там.

Окна смотрели не только в сад перед женской половиной, но и во двор мечети. Вечером, когда во дворе собирались дети, я пододвигал стулья к окну, складывал на них все подушки, какие попадались под руку, взбирался на подоконник и наблюдал оттуда за шумной игрой ребятишек. Я был непоседой и, естественно, с завистью смотрел, как резвятся на воле, бегают и дерутся мои сверстники. В доме я рос один, играть было не с кем. Правда, у меня был целый полк двоюродных братьев и сестёр, они иногда приходили к нам в гости. Но эти тихони и барчуки, благовоспитанные, разряженные, словно куклы на витрине, не нравились мне, с ними было скучно. Меня тянуло к уличным сорванцам, которые дрались, носились как угорелые, вырывали друг у друга из рук хлеб, прыгали на повозки, лазали по деревьям. С ними я мог бы подружиться. Но, увы, не то, что дружить с ними, нам не разрешали даже выходить на улицу.

День, когда нас с братом должны были отдать в школу, начался как настоящий праздник. Около ворот нас ожидал экипаж, неподалёку от него выстроились маленькие школьники. Дети стояли на коленях, читали молитву и громко славословили бога. В новой одежде я чувствовал себя скованным. Через плечо у меня висела расшитая бисером сумка, на голове красовался усыпанный блёстками башлык. Я нетерпеливо переминался с ноги на ногу и ждал, когда, наконец, окажусь среди своих сверстников.

Но моим надеждам не суждено было сбыться. Наше поступление в школу ограничилось только этой церемонией, чтением огромного, в позолоченном кожаном переплёте букваря, который возлежал на нарядном, инкрустированном пюпитре, да целованием руки учителю, - вот и всё.

После этого к нам на дом два раза в неделю стал приходить Махмуд-эфенди. Он давал уроки Музафферу, а заодно и мне. Старший брат понимал то, что ему читали, а я, совсем ещё малыш, сидел тихонько рядом и зевал, прикрывая ладошкой рот. И хотя я уже считался школьником, мне по-прежнему, как девчонке, приходилось сидеть дома. Это было моё первое серьёзное разочарование в жизни.

Глава третья

Одна только Кямияп-калфа понимала моё горе и, как могла, утешала меня. Когда няня отправлялась в гости к своей подруге, Махпейкер-калфе, с которой они ещё молодыми были вместе в услужении, то частенько брала с собой и меня. Махпейкер-калфа жила в районе Кызташи, - при всём желании я ни за что бы не нашёл теперь этого места.

В целом мире, пожалуй, не было более симпатичного и уютного уголка, чем тёмный, ветхий, покосившийся домишко старой Махпейкер в узком переулке. Вот где я чувствовал себя свободным. Там я подружился с сыном хозяйки этого домика, Мурадом; вместе с ним мы ставили в саду силки на птиц или во дворе играли в чижику.

А потом появились у меня и другие приятели.

На углу улицы, в пяти минутах ходьбы от дома Мах-пейкер-калфы, была школа. В ней учились Мурад и все ребята из этого квартала. И я им ужасно завидовал.

— Я тоже хочу учиться в школе. Запишите меня, - приставал я к няне и к Махпейкер-калфе.

В конце концов они сжалились надо мной и отвели меня в школу вместе с Мурадом.

— Пусть Иффет хоть иногда у вас будет гостем, ходжа^[5]-эфенди, - попросили они учителя. - А то плачет мальчуган: просится в школу. Никак его не успокоить.

И вот мечта моя сбылась. Теперь раз или два в неделю я тоже ходил в школу. Правда, положение "гостя" меня немного удручало. Учитель делал мне всякие поблажки: сажал рядом с собой; не ругал и не отчитывал, если я не знал урока; на мои проказы смотрел сквозь пальцы и не драл, как других ребят, за уши.

У детей, как и у взрослых, бывают свои горести и обиды, о которых они молчат, особенно когда задето самолюбие. Ох, как я мучился потому, что учитель относился ко мне не так, как ко всем моим товарищам - этим сорванцам-голодранцам. Привилегированное положение мешало мне проказничать и драться со всеми наравне, как я того хотел.

Однажды всю школу пригласили на поминки. Учитель уже строил во

дворе учеников, как вдруг откуда-то появилась няня и взяла меня за руку.

- Ты не ходи с ними. Не дай Бог, узнает отец, нам обоим влетит.

Я вышел из строя и, опустив голову, встал рядом с няней в сторонке.

Ребята тронулись в путь. Взявшись за руки, они шагали в ногу, на ходу читая молитву, и время от времени дружно, хором выкрикивали: "Аминь!" Я с завистью смотрел им вслед, а потом не выдержал и, прижавшись к няне, разрыдался. Слезы мои, видно, разжалобили её. Не говоря ни слова, она повела меня темными закоулками, чтобы никто не видел, и мы быстро догнали процессию. И вот, шагая вместе с товарищами и выкрикивая "аминь!", я почувствовал себя взрослым, будто и вправду стал старше на несколько лет. Слезы быстро высохли. Но теперь настала очередь няни: она плелась позади нашей колонны и то и дело прикладывала платок к глазам.

Вернувшись в школу, мы накинудись на сладкие пышки, которыми потчуют на поминках, а потом какой-то бородатый эфенди достал из большой красной сумки горсть новеньких блестящих монет и принялся раздавать их нам.

Когда очередь дошла до меня, я тоже протянул руку. Но тут учитель поспешно сказал:

- Это сынок его превосходительства Халиса-паши.

- Ах вот что! Ну, как, маленький бей, твои успехи? Бородатый эфенди ласково потрепал меня по щеке и смущённо прошёл мимо. Так я и остался стоять с протянутой рукой. Будто я не кричал вместе со всеми "аминь!" и не заработал своей монеты?! Я затаил в душе обиду на учителя, так унизившего меня перед товарищами.

Наш ходжа-эфенди был, наверное, переселенцем из Болгарии. Он любил, что называется, пошутить: каждому ученику непременно давал прозвище; меня почему-то прозвал "Героем".

Случалось, учитель устраивал в школе нечто вроде массовой порки. Ему жаловались, например, что ученики залезли в чужой сад и наворовали слив. Или он узнавал, что днём, когда он уходил совершать намаз^[6], ребята кидались камнями и палками и разбили стекло. Разумеется, воспитывать детей - обязанность учителя. И если ему не удавалось найти виновного, он наказывал всех подряд – виновный, таким образом, не мог избежать наказания. Мы считали это вполне справедливым.

Однажды, когда учитель отправился на молитву, несколько сорванцов, гоняясь за кошкой, забежали в класс, перевернули пюпитры с книгами и опрокинули чернильницы.

Вернувшись, учитель страшно разгневался. Без лишних слов он запер дверь на ключ (при всеобщей порке такая предусмотрительность была

весьма уместной, ведь иначе ученики могли разбежаться) и принялся за дело.

В тот день я впервые присутствовал при наказании. В классе поднялся переполох, ребята плакали, просили пощады, кричали!

- Я не виноват! Ей-Богу, не виноват!

- Mamочка! Мама!

- Аллах! Аллах!

Но ходжа-эфенди всех по очереди заставлял разуваться и ложиться под фалаку^[7], чтобы палкой отсчитать каждому положенное количество ударов. (В школе существовало такое правило: получивший свою порцию, обливаясь слезами, держит ноги следующей жертвы. Это было не только обязанностью, но и своеобразным поощрением - становясь соучастником экзекуции, ребёнок понемногу забывал о своей боли.)

В классе учился мальчик по прозвищу "Вонючий Тахир". Его единственного освобождали от порки. Худой, болезненный, он еле держался на ногах. Когда очередь доходила до него, он от страха напускал в штаны.

Никогда не забуду: в тот день на мне был новый бордовый костюм в чёрную крапинку; пока мои одноклассники причитали и плакали, я отошёл в сторонку и стал торопливо развязывать шнурки на ботинках; настал мой черёд, я приблизился к учителю:

- Чулки тоже снимать, ходжа-эфенди?

Увидев, что я не плачу и с радостью готов принять наказание, бедняга растерялся. Он застыл в нерешительности, ища для меня оправдания.

- Ты отойди в сторонку, - проговорил он, наконец. - Ты гость.

Но в сторонке, куда показал учитель, стоял Вонючий Тахир. Он скалил свои гнилые зубы и делал мне знаки.

Оставить товарищей и присоединиться к нему? Такого позора я не мог перенести!

- Я здесь не гость, ходжа-эфенди! И должен быть наказан вместе со всеми.

Как всякий избалованный ребёнок, я не просил, а приказывал.

- Ну что ж, ложись! - сказал учитель после некоторого колебания.

Он бережно приподнял мои ноги и раза два-три легонько, словно лаская, дотронулся до них палкой.

После занятий учитель подозвал меня. В его взгляде были любовь и нежность, которых я прежде не замечал. Он дёрнул меня за ухо:

- Эй, Герой! Ты, надо думать, вырастешь неплохим человеком!

Глава четвёртая

Был у нас в школе мальчик, которого называли "Маленьким Омером". В холодные дни он обычно приходил в школу в старой материнской кофте с вышивкой на груди, поэтому я прозвал его "Девчонка Омер". А он, в свою очередь, наградил меня кличкой "Рыжий еврей". Это потому, что волосы у меня и впрямь были рыжие, и ещё я носил очки, так как был близоруким.

Однажды в полдень мы, как обычно, высыпали на перерыв в школьный сад и принялись за свои завтраки. Стояла золотая осень. Листья с чинар уже почти облетели и плотным ковром устилали землю. Омер сидел напротив меня и жевал хлеб с маслинами. А мне совсем не хотелось есть надоевшие котлеты. Вот я и предложил Омеру поменяться завтраками. Он с радостью согласился. Я набросился на хлеб и маслины, а он с ещё большим аппетитом - на котлеты. Кто-то из ребят наябедничал учителю: Омер, дескать, обманул Иффета и уплетает его завтрак. Прибежал разъяренный учитель, схватил Омера за худенькие плечи, поставил на ноги и отвесил ему две пощёчины. Потом отнял у него котлеты и возвратил их мне. От испуга я не вымолвил ни слова. Но после этого меня начала мучить совесть: ведь по моей вине Омеру досталось ни за что ни про что.

С тех пор я привязался к Маленькому Омеру. На уроках садился рядом с ним, на переменах мы всегда играли вместе. От Маленького Омера я впервые узнал, что такое жизнь. Как большинство детей, выросших в нищете, он знал всё и обо всём.

- А моя бабушка - параличная, - рассказывал он. - Мать ходит стирать в чужие дома. По вечерам мы часто сидим в темноте. Иногда спать ложимся без ужина.

При воспоминании, как я дразнил Омера за женскую кофту, мне становилось стыдно, я готов был провалиться сквозь землю.

Старший брат Омера учился в военной школе, вся надежда была на него. Но перед выпуском, когда он должен был получить офицерский чин, случилась беда: его оклеветали, судили и сослали в Физан^[8].

Когда Омер вспоминал о брате, то делался серьёзным и печально опускал голову.

- Живи он с нами, всё бы не так плохо нам приходилось.

И вот однажды меня вдруг осенило:

- Знаешь, Омер, что мне пришло в голову: попрошу-ка я отца. Он ведь

у нас паша. Пусть уговорит султана помиловать твоего брата.

Я думал, Омер от радости бросится мне на шею. Но он, как старик, скривил губы и недоверчиво покачал головой:

- Ничего не выйдет!

Мысль о спасении его брата не выходила, однако, у меня из головы. В том возрасте всё представлялось мне простым и доступным.

Несколько раз я подходил к отцовской двери с твёрдым намерением броситься ему в ноги. Раз даже решился войти к нему в комнату, но, увидев отца, так испугался, что лишился дара речи.

Случилось так, что я сильно простудился, заболел инфлюэнцей, и меня уложили в постель. В бреду, обливаясь холодным потом, преследуемый кошмарами, я не переставал думать о брате Омера. Однажды ночью, пробудившись от тяжёлого сна, я увидел у изголовья отца. Он потрогал мой лоб, ласково погладил по голове. Я почувствовал на своей щеке холодное прикосновение янтарных чёток, которые всегда висели у отца на запястье.

- Ну, как себя чувствуешь, Иффет? Болит где-нибудь?

Я внимательно посмотрел на отца, но ничего не ответил.

- Может быть, тебе чего-нибудь хочется? Скажи, - я куплю.

Впервые я видел отца таким ласковым и внимательным. Безошибочным чутьём ребёнка я понял, что отцу меня жалко, и он любит меня сейчас.

Обеими руками я схватил его руку, гладившую мои волосы, и, заливаясь слезами, осыпал её поцелуями.

- Паша-батюшка, мне ничего не надо. Пусть только освободят из тюрьмы брата Омера. Жалко мне их.

- Какой Омер? Кто это Омер?

- В нашей школе. Маленький Омер. Его брата оклеветали и ни за что отправили в ссылку. Попроси, умоли нашего отца-султана, чтобы его вернули.

- Кто тебя этому научил? - спросил отец, грозно нахмутив брови.

Лицо его стало, как обычно, холодным и строгим. Я понял, что провинился, и задрожал от страха. Я ничего не ответил, закрыл глаза, словно опять впал в забытие.

Впрочем, он и не ждал от меня ответа. Он о чём-то строгим голосом допрашивал няню.

Пока они разговаривали, я и в самом деле забылся.

Через несколько дней я выздоровел и первым делом спросил у няни, скоро ли мы пойдём к Махпейкер-калфе. Я не решился сказать - в школу, но няня поняла мою хитрость:

- О школе теперь забудь. Из головы выбрось! Из-за тебя меня, знаешь, как отругали. В мои-то годы!

Так закончилась моя дружба с Маленьким Омером. Несколько раз я видел, как он бродит около нашего дома в старых бабушкиных шлёпанцах и материнской кофте. Ходит и поглядывает на наши окна.

Не знаю, что с ним потом стало. Он исчез. Больше я его никогда не встречал.

Глава пятая

Отец почему-то никак не хотел отдавать нас в школу. Старший брат учился у Махмуд-эфенди до семнадцати лет, а я - до четырнадцати. Кроме того, два раза в неделю нам давал уроки французского языка наш домашний врач Израил-бей.

С годами Махмуд-эфенди стал вытеснять из моего сердца мою няню, Кямияп-калфу. Это был ласковый, всегда спокойный человек, настоящий подвижник, он считал, что главное в жизни - знание и смирение. Очень часто он любил повторять: "Коли по мне, то лучше моему ученику быть убитым, чем убийцей!"

Я чувствовал, что Махмуд-эфенди любит меня больше, чем Музаффера. Брат рос апатичным и ленивым мальчиком, он всегда был чем-то недоволен, словно его обидели или обошли. В то же время он был очень самолюбив и надменен, - с Махмуд-эфенди обращался, точно с дядькой-гувернером.

Так безрадостно и текло моё детство до четырнадцати лет, сначала в нашем особняке в Аксараяе, а после пожара - в Фындыклы.

У отца была сестра, на два года моложе его. Она жила в Карамюрселе, в имении Дамладжик, доставшемся ей в наследство от мужа. Когда тётя Хатидже осталась вдовой с двумя дочерьми на руках, брат пригласил её к себе в Стамбул на жительство, но она отказалась, не пожелав бросить дом в Карамюрселе.

Каждое лето отец отправлял нас с Музаффером на два месяца в Дамладжик подышать свежим воздухом. На уроках арифметики я часто подсчитывал, сколько дней ещё ждать до нашего отъезда. Махмуд-эфенди, очевидно, заметил это и, когда на уроках я начинал от скуки зевать, прикрывая тетрадь рот, спрашивал:

- А ну-ка, Иффет-бей, реши задачу: сегодня двенадцатое февраля, а в Карамюрсель вы едете первого июня, сколько дней остается до отъезда?

Или же:

- Что такое остров? Помнишь, по дороге на Дамладжик стоит мельница? А как раз напротив неё посреди реки видны участки суши, из воды торчит земля, - так вот это и есть острова, только очень маленькие.

Несколько островов называют.

Слово "Карамюрсель" действовало на меня магически. Услышав его, я чувствовал на своём лице дуновение тёплого, чуть пахнущего жнивьем летнего ветра.

В Карамюрселе я успевал и вознаградить себя, и взять реванш за целый год скуки и тоски, мучивших меня в особняке. Тётушка Хатидже меня очень любила и на все мои проказы смотрела сквозь пальцы. Няня Кямияп-калфа ещё первые несколько дней пыталась удерживать меня, но, убедившись в тщетности своих усилий, предоставляла мне полную свободу.

В имении было несколько моих сверстников, детей батраков, работавших у тётки, да ещё приходили ребята из соседних дворов, так и собиралось нас уже целое войско. Шумной ватагой мы ходили ставить силки на птиц, ловить рыбу в речонке, протекавшей рядом с имением.

Брата моё поведение шокировало. Глядя, как я бегаю босиком, валяюсь с ребятами в соломе, катаюсь на раме молотилки, которую волокут лошади, лазаю по деревьям, дерусь со своими приятелями, деревенскими мальчишками, он приходил в негодование.

- Тебе не подобает играть с детьми черни! Мне стыдно за тебя. Не забывай, что ты сын паши. Вот напишу письмо отцу, - грозил он.

Но больше всех в Дамладжике от меня доставалось несчастной Кямияп-калфе. Бедняжка вечно боялась, как бы со мной чего не стряслось, и не спускала с меня глаз. Она неотступно следовала за нами: запыхавшись, бежала в гору, а потом, не успев перевести дыхание, мчалась под гору, бросалась за нами в колючий кустарник, до крови раздирала руки, рвала одежду. Она, конечно, ругалась и ворчала, но в душе, наверно, не могла сердиться на меня, ибо страдала не меньше меня оттого, что весь год я вынужден был сидеть дома в четырёх стенах.

После летних каникул я возвращался в Стамбул неузнаваемым. Моя кожа, как у всех рыжих, слишком чувствительная "к солнечным лучам, облезала слой за слоем. Пальцы мои были черны от сока грецких орехов, на лице, на руках, на ногах красовались синяки, ссадины и царапины.

Глава шестая

В десяти минутах ходьбы от имения стояла старая мельница, а вокруг неё росли могучие деревья грецкого ореха. И чего только не говорили про эту мельницу: и будто это заколдованное место, и будто в камышах бродят привидения, которые по ночам затягивают всех путников в болото.

Мы с ребятами только ходили вокруг да около, а забраться в сад и нарвать орехов боялись.

Зато я любил слушать, как няня рассказывала таинственную легенду об этой мельнице.

Когда-то на холме, что напротив имения, в деревне Кемерли жила девушка удивительной красоты по имени Айше. Косы у неё были чуть ли не до пят. И был у девушки жених Исмаил. Но однажды его забрали в солдаты и отправили воевать в Йемен. Айше была круглой сиротой, и жилось ей худо, частенько даже приходилось голодать. И потому что она была очень красива и не было у неё никого, кто мог бы заступиться за неё, деревенские парни не раз пробовали увезти её в горы, да только им никак не удавалось обмануть девушку. Собрались тогда старейшины деревни, посоветовались между собой и решили отдать Айше в жены хозяину мельницы, Гаффар-аге. Девушка в слёзы. "У меня, говорит, жених есть. Не хочу идти за старика". А ей говорят: "Разве ты слышала, чтобы кто-нибудь возвращался из Йемена? Твой жених давно уже погиб." Как она ни плакала, как ни умоляла, только отдали её в жены Гаффар-аге.

Прошло два года. Айше привыкла к дому и к мужу. Стали супруги жить-поживать, добро наживать. И вдруг в один прекрасный день из Йемена возвращается Исмаил. Односельчане ему говорят: "Мы уж потеряли надежду тебя дожидаться и поэтому отдали твою невесту Гаффар-аге. Что поделать! Аллах милостив - не забудет тебя!" Сначала Исмаил как будто смирился с судьбой. Но потом не выдержала его душа. Нет-нет, да и завернёт парень вечером к мельнице, сядет неподалеку, затянет грустную песню и заставит бедную женщину от тоски и разлуки слёзы горькие проливать.

Как-то раз встретил Исмаил на дороге Айше и стал её уговаривать: "Впусти меня к себе, когда Гаффар-ага уйдёт в деревню". Бедняжка взмолилась: "Не надо, Исмаил, не проси ты меня об этом. Узнают люди - погибла моя честь. Гаффар-ага человек крутой. Убьёт и меня и тебя".

Как ни умоляла она Исмаила, да только он настоял на своём. Чему

быть - того, говорят, не миновать. Наступила однажды ночь, и влюблённые встретились. Не успели они поведать друг другу свои горести, слышат: залаяли собаки, стучит кто-то в двери. Поняли, что Гаффар-ага неожиданно вернулся из деревни. Спрятаться на мельнице было негде. Тогда Исмаил говорит: "Не бойся, Айше. Мне и так и так смерть. Зато честь твою я спасу. Никто ничего не узнает!" С этими словами бросился Исмаил в реку и навеки исчез. Тело его так и не нашли. Наверное, умирая, думал Исмаил о своей любимой, о том, как честь её спасти, - вот и остался он камнем лежать на дне реки.

Этот рассказ впервые заставил меня задуматься о том, что существует любовь. Прежде мельница меня только пугала; деревья грецкого ореха, росшие вокруг, пустота и заброшенность - всё напоминало о кладбище. Но чем старше я становился, тем все более глубокий смысл приобретала для меня бесхитростная легенда о любви Исмаила и Айше.

Я уже не боялся, как раньше, привидений в густых камышах. Призрак влюблённого юноши манил меня, вызывал в моей душе сладостную грусть и сострадание.

Ну разве не глупо страшиться несчастного парня, который погиб, утопившись в реке, только потому, что хотел спасти от позора любимую женщину, хотел защитить её честь от злых языков?!

Легенда раскрыла мне глаза, я узнал, что на свете бывает преданная любовь, что влюблённый должен жертвовать собой ради любимой женщины.

Глава седьмая

Как только моему брату Музафферу исполнилось семнадцать лет, его определили в адъютанты его величества, повелителя нашего, нацепили золотые аксельбанты, и я остался в доме совсем один. А тут ко всему ещё Махмуд-эфенди частенько стал пропускать уроки. Бедняга прихворнул после того, как с ним случился лёгкий удар.

Как-то вечером отец позвал меня к себе в кабинет.

- Иффет, я решил отправить тебя в лицей. Ты должен хорошо учиться и не походить на уличных сорванцов. Завтра чтобы был готов!

О таком счастье я не смел и мечтать! От радости я не спал всю ночь.

Наутро Махмуд-эфенди усадил меня в карету и отвёз в лицей. Меня проэкзаменовали. То ли и вправду наш Махмуд-эфенди учил меня как следует, то ли мне, как сыну паши, оказали благоволение, - не знаю, - только я был принят в старший класс.

Кроме меня, в школе было ещё несколько мальчиков из знатных семей, которые чуждались других ребят. Они держались друг друга, вместе гуляли по школьному двору, вместе играли. Они согласны были взять меня в свою компанию, но я отказался. Я был простым парнем, скромным и совсем не гордым. Мне не нужно было ничего, кроме настоящей дружбы и искренней любви. А эти чинные, благовоспитанные барчуки с постными лицами, которые величали друг друга не иначе как "бейэфенди" и сторонились всех игр, не вызывали у меня никакой симпатии. Меня тянуло к иным людям. Я себе выбрал других товарищей и подружился с ними.

Мой покладистый и весёлый характер нравился всем. В нашем классе самым серьёзным и прилежным учеником был Джеляль-агабей^[9], он терпеть не мог барчуков. Он и меня сначала принял весьма холодно, но потом привязался ко мне и полюбил.

В лицей я пришёл совсем мальчишкой. Но там я быстро повзрослел и возмужал. На летние каникулы меня, как и прежде, отправляли в Дамладжик. Пожалуй, внешне я был всё тем же маленьким Иффетом, весёлым, беззаботным и озорным, но внутренне с каждым годом становился всё более серьёзным и сосредоточенным.

Я мог теперь часами лежать в тени под деревом, как раз там, где раньше ставил силки на птиц, и читать книги или просто предаваться смутным мечтам.

С Джелялем мы подружились. По духу своему он был страстным и

отважным бунтарём. Он говорил со мной о свободе и конституции, забывая, что я сын придворного сановника. Он обличал произвол султана и бесчинства его камарильи, наизусть читал мне стихи Намыка Кемалья^[10]. До этого я слышал иные слова, раньше мне старались внушить другие идеи, другие представления о жизни. Это значило, что теперь я должен был бы изменить отношение к нашей семье, отказаться от родственных и сердечных привязанностей. И, несмотря на это, я с лёгкостью признал правоту Джеляля.

Кроме любовных романов, я стал тайком читать запрещённые книги, где говорилось о борьбе за свободу, о революции.

Я и мой новый друг лишь в одном не соглашались: Джеляль считал, что справедливость надо завоёвывать огнём и мечом; я же, мечтатель и оптимист, надеялся на взаимные уступки и снисходительность враждующих сторон. Быть может, потому, что в том лагере, который я обрекал на уничтожение, оказались мои родные, близкие мне люди.

Глава восьмая

Наконец я перешёл в последний класс лицея. Отец сказал мне, что сразу после экзаменов он определит меня, как и Музаффера, в адъютанты султана. Я же мечтал поступить в школу Мюлькье^[11] или же на юридический факультет университета. К придворной карьере я относился с презрением. Самое большее, чего я хотел, это стать честным, добросовестным служащим где-нибудь в провинции. Честолюбие мне было чуждо. Пределом моих желаний был небольшой домик и многочисленная семья. Работать для семьи, для детей - что ещё нужно человеку, чтобы чувствовать себя счастливым?!

Этими мыслями я делился иногда со своим другом Джелялем.

- Можешь не волноваться, Иффет, - успокаивал он меня. - Ты слишком мало хочешь от жизни и непременно обретёшь своё счастье.

Никогда не забуду этого холодного и пасмурного зимнего утра. Прошёл слух, взбудораживший весь лицей. Говорили, что прошлой ночью арестовали нашего молодого учителя Веджи-бея. Причины точно никто не знал. Войдя в класс, я схватил Джеляля за руку.

- Как ты думаешь, за что арестовали Веджи-бея? Он странно посмотрел на меня и словно нехотя ответил:

- Кто-то послал письмо в султанский дворец и донёс на учителя, будто он рассказывал ученикам старших классов о конституции.

Я знал, конечно, что Веджи-бей вольнодумец и не боится высказывать свои мысли вслух.

- Кто же мог сделать такую подлость? - спросил я дрожащим от негодования голосом.

Джеляль оставил мой вопрос без ответа. К нам подошли другие ученики.

Никогда в нашем классе не царствовала столь унылая тишина. Начался урок географии. Учитель что-то вяло бубнил, мы так же вяло записывали. Настроение у меня было подавленное. Урок, казалось, уже тянулся целую вечность.

Я глянул на стенные часы: до перерыва осталось ещё десять минут, - в этот момент открылась дверь, появился старичок, наш главный

надзиратель, и сказал учителю:

- Триста двадцать второго, Иффет-эфенди, - к директору.

Я поднялся в растерянности и недоумении, чувствуя на себе взоры всех учеников.

Надзиратель молча шагал впереди по коридору. Язык у меня не поворачивался спросить, зачем вызывают. Мы прошли коридор, поднялись по лестнице и очутились у дверей директорского кабинета.

Главный надзиратель Сами-эфенди тихонько постучал, вернее, только дотронулся до двери, нажал ручку и, по-прежнему не говоря ни слова, сделал шаг в сторону, пропуская меня вперёд.

Кроме директора и его заместителя, в кабинете было ещё трое незнакомых мне людей: молодой адъютант с наглым выражением лица, с рыжими, на немецкий манер закрученными усами и вьющимися волосами, седой мужчина в длинном сюртуке и большой красной феске, надвинутой чуть не до самых ушей, и ничем не примечательный смуглый молодой человек в очках - он что-то писал, примостившись в углу у маленького стола.

- Пожалуйста, Иффет-эфенди, - произнёс директор дрожащим голосом, лицо его было бледным.

Рыжеволосый адъютант спросил:

- Это вы, Иффет-бей? - Голос у него оказался скрипучим и таким же наглым, как и его вид.

- Да, эфенди.

- Его превосходительство Халис-паша ваш отец?

- Да.

- Ваш батюшка - один из самых верных и усердных слуг нашего обожаемого султана. Я не сомневаюсь, что и вы питаете к падишаху такие же искренние верноподданнические чувства и ради нашего благодетеля, его величества падишаха, готовы сделать всё от вас зависящее, пойти на любые жертвы.

Помимо этого запомнившегося мне цветистого вступления, господин офицер произнёс ещё много других громких слов.

Пока он говорил, остальные пристально смотрели мне в глаза. Только директор сидел, уставившись в окно, словно пытался что-то разглядеть за мутными от дождя стёклами, и комкал в руке лист бумаги.

Теперь я понял, отчего так испуган и подавлен был наш класс. Оказывается, Веджи-бей занимался "опасным подстрекательством", читал "книги, распространяемые некоторыми богохульниками-предателями, направленные против нашего божественного и несравненного падишаха".

Но нашёлся ученик, который написал анонимное письмо в канцелярию его величества и, донеся об этом "весьма опасном преступнике", сделал тем самым "большое и оценённое по достоинству доброе дело". Молодой адъютант дал мне понять, что есть предположение, будто это анонимное письмо написал я. На то имеются важные основания: разве я не сын Халис-паши, "самого верного слуги трона"?

В глазах у меня помутилось.

- Я ничего не знаю, - процедил я сквозь зубы. Кто написал это письмо, мне неизвестно.

Адъютант, притворившись, что верит мне, решил поставить вопрос по-другому:

- Но вы-то сами хорошо знали Веджи-бея? Он говорил иногда вашим товарищам о конституции, конституционном строе и о других вещах?

- Не знаю! - возмутился я. - Почему вы не спросите об этом у других?

Этот ответ вывел из себя адъютанта. Правда, он сдержался, но не преминул, однако, пустить в ход угрозу:

- Не к лицу скрывать то, что вам известно. Дело касается интересов его величества падишаха! Если ваш батюшка узнает о том, что вы позволяете себе дерзить, я думаю, он не будет доволен вашим поведением.

Угроза оказала на меня обратное действие. Я потерял самообладание и, не отдавая себе отчёта, вдруг выпалил - откуда только смелость взялась:

- Я не агент тайной полиции, господин адъютант! Не берусь описать замешательство, которое вызвали мои слова. Директор опрокинул стоящий рядом стул. Смуглый секретарь испуганно посмотрел на меня сквозь стёкла очков. Молодой адъютант переменялся в лице. Только молчавший до этого седой мужчина в длиннополом сюртуке оставался по-прежнему невозмутимо спокоен.

- Разрешите, бейэфенди, - учтиво обратился он к адъютанту бархатным, сладко-певучим голосом. - Возможно, маленький бей не совсем отдаёт себе отчёт в словах, которые у него вырвались. Разрешите, мы с ним поговорим спокойно.

Через маленькую дверь мы вышли в школьный музей.

- Здесь никого нет, не так ли? Пожалуйста, Иффет-бей.

Он пропустил меня вперёд.

Встреть я этого господина где-нибудь в другом месте, я принял бы его за честнейшего и справедливейшего человека. Он обходился со мной так любезно, голос у него был такой мягкий, слова такие красивые, манеры столь учтивые, что в других обстоятельствах я, пожалуй, мог бы ему довериться и открыть душу. Но он всё же выдал себя. От меня не

ускользнуло, как, пропуская меня вперёд, он заговорщицки подмигнул адъютанту.

Сперва он поговорил со мной о выставленных в нашем музее экспонатах, выпрашивал моё мнение о них, пытаясь таким образом втянуть меня в непринуждённую беседу. Потом постепенно переменял тему, стал говорить мне комплименты, напомнил о моём благородном происхождении, упомянул о моём хорошем воспитании и даже о каком-то "удивительно умном блеске" близоруких глаз, который-де пробивается через стёкла моих очков.

Можно было подумать, что передо мной святой души человек, который печётся о всеобщем счастье и не способен обидеть даже мухи. Наша беседа (если её можно было назвать беседой) продолжалась более полутора часов. Но, в конце концов поток его красноречия, натолкнувшись на глухую стену молчания, иссяк.

Когда меня отпустили, как раз началась перемена - и ребята выходили из класса. В душе моей чувство гордости мешалось с тревогой, даже со страхом. Я был почти уверен, что дело одним разговором не ограничится, и впереди меня ждут новые испытания. И в то же время было приятно сознавать, что ты способен на самопожертвование, сколь бы горьким и многотрудным оно ни оказалось.

Дождь на улице усилился. Из сада в школьный двор нёсся поток воды. Некоторые ребята толпились под навесом спортивной площадки. Другие нашли себе убежище в оконных нишах коридора. Никогда наша школа не производила на меня такого удручающего впечатления. В углу вестибюля, где сушились зонтики и висели мокрые плащи, я нашёл Джеляля. Прислонившись к стене, он читал какую-то книгу. Я поспешил к нему.

- Джеляль! Как меня терзали эти негодяи! Если б ты знал, о чём они меня спрашивали.

Я протянул к Джелялю руку, ища в нём поддержки, но он отпрянул от меня. Наши глаза встретились, и я почувствовал, как внутри у меня что-то оборвалось. В глазах Джеляля я увидел недоверие.

Забыв, что только что собирался рассказать ему всё по порядку, я вдруг спросил его, сам не зная почему:

- Ты кого подозреваешь, Джеляль? Кто, по-твоему, мог сделать такую подлость?

Джеляль не ответил и склонился над книгой.

Я повторил свой вопрос, подкрепив его умоляющим взглядом.

Джезяль нервно подёрнул плечами и с горькой усмешкой произнес:

- Кто же ещё? Конечно, я. Кроме меня, больше никому! - и, не глянув в мою сторону, направился к спортивной площадке.

Я окаменел. Наконец-то я осознал весь ужас своего положения: не только придворный адъютант, но и мои товарищи решили, что анонимный донос послан мною.

Перерыв закончился. Ребята стали расходиться по своим классам, побежали по коридорам, по лестницам.

Я не в силах был двинуться с места. Ничтожный и жалкий, стоял я, забившись в тёмный угол вестибюля среди мокрых плащей и зонтиков.

Меня охватило безнадёжное отчаяние. Сколько бы я ни старался, как бы ни оправдывался, все равно мне не удастся рассеять подозрение. Когда коридоры опустели, я надел плащ и через чёрный ход, крадучись, вышел на улицу.

Дождь лил и лил, по улице неслись грязные потоки воды. Я шёл с опущенной головой, засунув руки в карманы, и мучительно думал: "Нет! Отныне я больше не вернусь в лицей. Конец моей счастливой жизни. Конец. Конец всему." И как бродяга, вспомнивший вдруг свой родной дом, откуда он бежал, где его любили, и к которому он сам навсегда сохранил любовь, я горько разрыдался.

Глава девятая

Вернувшись домой, я сказал Кямияп-калфе, что захворал, и у меня болит горло. Это действительно было так.

Всю ночь я метался в кровати, бредил, и тело моё пылало огнём.

Утром мне сказали, что паша-батюшка хочет видеть меня. Я знал: предстоит неприятный разговор, но страха перед ним не испытывал.

Когда я вошёл в кабинет, отец разговаривал с Махмуд-эфенди, который сидел напротив него на миндере^[12]. Отец сделал вид, будто не видит меня, и продолжал разговор. При моём появлении он лишь сердито нахмурил брови. Беседа шла о каких-то пустяках. Я чувствовал, что он нарочно не смотрит на меня, стараясь оттянуть начало предстоящего разговора.

Переминаясь с ноги на ногу у дверей, я вспомнил, как лет десять назад, ночью, умолял его помочь брату Маленького Омера. У меня тогда тоже болело горло.

Наконец, после небольшой паузы, отец повернулся ко мне.

- Иффет, на тебя жалуются. Вчера в школе к тебе обратились по важному делу и просили сказать, что ты знаешь по этому поводу. Но ты ответил дерзостью. И вообще вёл себя неподобающим образом.

Лицо отца было строгое. Однако не такое, как я ожидал. Он по-прежнему старался не смотреть мне в глаза, и голос его звучал совсем не так резко и уверенно, как обычно.

- Но я в самом деле, паша-батюшка, ничего не знал, - тихо сказал я дрожащим голосом.

- Конечно, никто от тебя не требует, чтобы ты говорил то, о чём не знаешь. Однако кто тебе дал право не только дерзить, но и оскорблять старших?

Наступило тяжёлое молчание.

- Отвечай. Почему ты вёл себя так вызывающе? Я молчал.

- Но ты виноват не только в этом. Ты ещё убежал из школы.

- Как я мог, паша-батюшка, смотреть в глаза товарищам, если все считают, что я, что это я донёс. Я больше не могу ходить в школу.

Махмуд-эфенди сделал умоляющее лицо и стал подавать мне знаки: "Молчи!" Отец дрожащей рукой указал мне на дверь и крикнул:

- Убирайся вон!

Опустив голову, я медленно направился к двери и вдруг услышал его голос:

- Постой. Подойди ко мне.

Я вернулся. Отец встал. Он подошёл к книжному шкафу, взял с полки книгу, смахнул с неё пыль и поставил на место; потом взял другую, полистал её и опять поставил на полку. Наконец он поднял голову и прямо посмотрел мне в лицо:

- Иффет, каждого могут спросить о том, чего он не знает, и даже о том, что он знает. Мне тоже иногда приходится отвечать на такие вопросы. И я тоже отвечаю; "Не знаю!" Ты понял?

Нет, этот голос не был голосом паши-батюшки! Отец говорил отрывисто, быстро, словно боялся остановиться. Старый человек, который стоял у книжного шкафа, совсем не походил на нашего пашу-батюшку, всегда такого важного и неприступного.

- На каждого могут наговорить! - продолжал отец. - Так что же из этого? Главное, чтобы совесть была чиста! Может быть, даже наверняка обо мне говорят и думают то же, как теперь о тебе. Но, Аллах тому свидетель, Иффет, я никогда доносчиком не был!

Отец в эту минуту выглядел до того постаревшим, осунувшимся и несчастным, что на глаза мои невольно навернулись слёзы. Затуманились стёкла очков, и передо мной всё вдруг поплыло.

- Ступай! Иди же, наконец! - Голос отца был слабым и усталым.

В отце я увидел в тот день совсем другого человека. И я думал, что мы станем теперь более близкими друг другу. Однако мои надежды не оправдались. Всё получилось наоборот: после этого разговора отец стал куда более резок со мной, ещё более недоступен.

Глава десятая

Из лица мне пришлось уйти. И снова потянулись длинные, бесцветные дни, наполненные скукой и вынужденным бездельем. Кем я буду, что из меня получится? Никто этого не знал. Но, по крайней мере, никто теперь, даже моя няня Кямияп-калфа, не заикались больше о придворной службе.

Как-то на праздники к нам съехалась вся родня. В полдень из дворца вернулись отец и Музаффер. Братец, явно рисуясь перед гостями в своей парадной форме дворцового адъютанта с золотыми аксельбантами, чинно поздравлял каждого в отдельности с праздником. Гости не сводили с него глаз. Надо признаться, что на Музаффера - ему недавно исполнилось ровно двадцать - трудно было не заглядеться. Вид у него в самом деле был бравый!

Мой дядюшка долго восхищался Музаффером, говорил, что вся наша семья гордится им. Другие, конечно, соглашались, поддакивала ему. Но дядюшка всё же переборщил.

- Вот, Иффет, - сказал он, повернувшись в мою сторону, - бери пример со своего брата! Возраст у тебя уже подходящий. Если постараться, тоже можешь стать таким, как он.

В его словах я усмотрел пренебрежение к себе: "Бери пример" прозвучало так, будто он хотел сказать: "Пока не поздно, возмись за ум!"

Мне не раз приходилось слышать от него подобные сентенции. К ним я уже привык. Но в тот момент они почему-то задели меня за живое.

- Я не собираюсь посвящать себя службе, от которой народу нет никакой пользы! - дерзко отпарировал я.

Дядюшка покраснел. В ответ он хотел сказать мне что-то очень резкое, но, видимо, сдержался.

- Очень жаль, Иффет, - произнёс он сердито. - От сына Халис-паши я не ожидал такого мальчишества.

Я не ответил. В гостиной воцарилось молчание. На этот раз его нарушил неуместным замечанием мой старший братец:

- Не знаю, где ты нахватался столь вредных мыслей. Ей-богу, я начинаю опасаться за твоё будущее.

- Лучше бойся за себя! - огрызнулся я. - Не думай, что народ будет спать до второго пришествия!

Эти слова, которые я произнёс с пылом начинающего уличного

оратора, окончательно вывели из себя дядюшку. Он замахал руками:

- Этот парень погубит всю нашу семью! Он насквозь пропитан крамольным духом младотурок!^[13]

Если бы не тётушка из Карамюрсея, мне, наверное, пришлось бы услышать что-нибудь и похуже. Но она вовремя схватила меня за руку и увела из гостиной. Утащив меня в другую комнату, тётушка принялась увещевать и наставлять, как умела. Она заранее оплакивала мою судьбу, хотя я так и не понял, каких бед она опасалась? Кончилось всё поцелуями и мольбами, чтобы я поберёг себя.

Через несколько минут, придя в себя, я и сам удивился своему поступку. По натуре я отнюдь не задира и не спорщик. Дядюшку своего я давно уже невзлюбил, а брата с детских лет презирал за ограниченность. Я совсем не собирался с ними спорить. Может быть, сам того не замечая, я начал завидовать Музафферу? Или же на меня подействовало чтение запрещённых брошюр в красных переплётах?

Когда мне пришлось оставить школу, я стал запоем читать революционную литературу. Одна из брошюр о социализме, помню, начиналась так: "Юноша! Тебе исполнилось двадцать. Настало время задуматься о будущем, о своем призвании. Из всех существующих профессий я тебе посоветовал бы одну из самых почетных и благородных: стань солдатом Великой армии идейного Освобождения, которая избавит человечество от гнёта и внутреннего рабства". Эти слова я знал наизусть.

После спора с дядюшкой и братом, после других подобных историй родственники стали считать меня бунтовщиком и чуть ли не революционером. Я не огорчился по этому поводу. Наоборот, в душе я даже радовался, стойко переносил невзгоды, как и подобает "солдату Великой армии идейного Освобождения".

Проходили дни, недели, месяцы. Я изменился до неузнаваемости. Присущая мне весёлость исчезла. Здоровый, беззаботный и озорной мальчишка превратился в задумчивого и медлительного юношу с меланхоличным бледным лицом и серыми близорукими глазами, которые без конца моргали, с грустью взирая сквозь стёкла очков на окружающий мир.

Глава одиннадцатая

Это случилось в день похорон моей няни Кямиян-калфы. Я возвращался из Эйюб-султана^[14] на пароходе. Никого из нашего дома, кроме меня и старого дядьки-воспитателя, на похоронах не было. Никто не заметил смерти старой няньки, никто не опечалился, будто померла кошка, к которой в доме все привыкли, - и только.

День был ветреный, сырой, но я остался на верхней палубе. Небо заволокли тучи. Казалось, они закрыли весь мир, окутали даже мой мозг. На душе было сумрачно и тоскливо. Никогда не думал, что мамина кормилица, добрая старуха-черкешенка, так много значила для меня. Вот теперь её нет, и в мире сразу стало пусто.

Вдруг перед моими глазами мелькнуло лицо Джеляля. Он пристально смотрел на меня. Я опустил голову.

Джеляль подошёл и сказал:

- Иффет-бей, я хотел бы с вами поговорить. Я встал и, не глядя ему в лицо, ответил:

- Я слушаю вас.

- Я виноват перед вами: в прошлом году я так несправедливо поступил с вами. Всё выяснилось потом: на Веджи-бея, оказалось, донес учитель, который метил на его место. Я хотел писать вам, просить прощения, но, к сожалению, так и не сделал этого. Простите меня!

От волнения я не мог вымолвить ни слова. Мы молча пожали друг другу руки и сели рядом. Вначале разговор никак не клеился.

Узнав, что умерла моя няня, Джеляль искренне опечалился и утешал меня, как мог.

Его слова успокаивали меня, я чувствовал, как беспросветная тоска уступала место спокойной печали, по щекам моим катились слёзы любви и нежности к ушедшему из этого мира дорогому и близкому человеку.

Мы расстались с Джелялем, поклявшись друг другу в вечной дружбе и братстве. На душе у меня полегчало, я не чувствовал себя больше одиноким.

Глава двенадцатая

О провозглашении конституции^[15] я узнал в Карамюр-селе. Я лежал больной в имении у тётушки, у меня был сильный кашель. Три дня тётушка меня не отпускала, но на четвёртый, несмотря на болезнь, я удрал и сел на пароход.

Наконец-то мечты мои сбылись. Однако, вопреки ожиданиям, особой радости я не испытывал. Ведь мой отец, брат, другие родственники были придворными. Что станет с ними?

Когда пароход причаливал, по набережной с криками: "Да здравствует свобода!" - шла колонна демонстрантов. Гремел оркестр. Над толпой развевались флаги.

От волнения голова у меня пошла кругом. Осуществилось то, о чём я мечтал в детстве, о чём столько думал в юности. С душевным трепетом и даже тревогой - их испытываешь всегда, когда видишь, как на глазах твоих совершаются чудеса, - я шагнул на улицу и слился с толпой. И я не чувствовал себя больше отдельным существом, я потерял свою индивидуальность, растворился, стал лишь частицей, ничтожной каплей бушующего моря - огромного, несущегося вперёд человеческого потока.

Вместе с колонной я дошёл до перекрестка - и тут вдруг услышал, что среди проклинаемых, ненавистных деспотов и тиранов народ выкрикивает имя Халис-паши.

Невольно я замедлил шаг, вышел из колонны и побрёл назад.

Демонстранты были далеко, и голоса их уже не доносились до меня, но в ушах всё ещё звучали грозные слова: "Будь проклят Халис-паша!".

И тут я, словно бы воочию, увидел отца - паша-батюшка, беспомощный, слабый старик, стоял у книжного шкафа и в порыве откровенности клялся: "Я, Иффет, никогда не был доносчиком!"

Я вернулся домой. В особняке царили тревога и уныние. Старшая сестра слегла в постель. Прислуга была в панике. Наконец, после долгих, расспросов, мне удалось узнать, как всё было.

В тот же день, когда провозгласили свободу, муж сестры бежал, по всей вероятности, в Египет. Он предложил бежать и отцу, но тот отказался. За день до моего возвращения около нашего дома появилась группа

демонстрантов. Сначала они кричали: "Будь проклят Халис-паша!", потом стали бросать камни, выбили стёкла. Через несколько часов отца арестовали. Где он теперь, никому не известно.

На меня в особняке поглядывали сердито. Старшая сестра высказала вслух то, о чём думали другие.

- Ну что, добился своего?! - упрекнула она меня.

Глава тринадцатая

Прошло два дня. Мы жили будто в карантине. Ни родственники, ни знакомые не решались постучаться в двери нашего дома. На третий день пришёл Махмуд-эфенди и принёс первую весточку об отце: говорили, что пока его держат в городском полицейском управлении, но, наверное, скоро сошлют на остров Митилена^[16].

Мои сестра и брат начали плакать, словно маленькие дети, их примеру последовала прислуга.

- Вы видели его, Махмуд-эфенди? - спросил я. Старый учитель смущённо отвел глаза в сторону.

- Нет, к сожалению, ещё не смог к нему сходить.

- Тогда давайте пойдём сегодня вместе. Сестра стала возражать, её поддержал Музаффер.

- Нет, нет! Сейчас ещё беспокойно. Надо переждать. Дня через два все вместе и сходим.

Я не стал их даже слушать.

- Как хотите, - сказал я твёрдо, - Если Махмуд-эфенди не пойдёт, я отправлюсь один.

Добиться свидания с отцом оказалось не так-то просто. Махмуд-эфенди долго ходил по коридорам, стучался то в одну, то в другую дверь. Бедняга совсем замучился; припадая на больную ногу, он таскался из комнаты в комнату, всех молил и упрашивал. Наконец свидание нам разрешили. У входа нас тщательно обыскали. Пока здоровенный детина в полицейской форме вёл нас по узкому мрачному коридору, у меня закружилась голова, начали дрожать колени. Каким я увижу отца? Что стало теперь с человеком, которого я привык видеть грозным и величественным?

В маленькой камере на узкой железной койке сидел отец и спокойно курил. Махмуд-эфенди с плачем ринулся па колени и припал, к его руке.

Как это ни странно, но паша-батюшка вовсе не был мрачно настроен. Напротив, он даже шутил: "В нашем мире всё время происходят какие-нибудь революции. Стоит ли сокрушаться, Махмуд-эфенди?"

Я не ожидал увидеть его в столь бодром расположении духа.

- Ну, как там поживают наши? - осведомился он у меня. - Никто не заболел от испуга, все живы-здоровы?

Я думал, что он спросит, почему не пришел Музаффер, и уже придумывал, что ему соврать. Но отец даже не упомянул его имени.

Мы просидели у него около получаса. Когда мы поднялись, отец написал несколько строк на клочке бумаги и протянул его мне:

- Иффет, ключи от библиотеки пусть будут у тебя. Тут я написал названия некоторых книг. Найди их. Скажи своей сестре, чтобы приготовила несколько пар белья. Возможно, мы уже завтра вечером тронемся в путь. Пришли мне всё это с Хусейном. Или. - Он на минуту задумался. - Может быть, ты сам, сынок, сумеешь принести?

Я понял, что отец перед отъездом из Стамбула хочет ещё раз повидаться со мной, но, видимо, стесняется говорить об этом, боясь показаться сентиментальным.

- Как вы считаете, - спросил он у Махмуд-эфенди, - Иффет сможет завтра прийти к пароходу? Никаких препятствий не будет?

- Какие могут быть препятствия? Непременно придём, правда, Иффет?

- Я поеду с вами, паша-батюшка, на Митилену! - решительно заявил я.

Отец удивлённо поднял на меня глаза.

- Вам нельзя туда ехать одному, - спокойно продолжал я. - Около вас обязательно должен быть кто-то. Кто-то из близких, любящих вас людей.

Отец с грустью посмотрел на меня и, словно моля о прощении, сказал:

- Хорошо, Иффет.

Глава четырнадцатая

На Митилене я провёл два с половиной года.

Мы с отцом жили чуть ли не в бедности, в маленьком плохоньком домике. Наш особняк в Стамбуле и имение в Бюйюк-Чекмедже конфисковали. У отца, которого все считали очень состоятельным человеком, кроме жалованья, никаких других доходов не было. За три месяца до его смерти нам пришлось даже продать несколько редких рукописных книг и чётки. Отец был очень огорчен этим, а я, глядя на него, мучился ещё больше.

Со Стамбулом мы не поддерживали связи. Революция разбросала нашу семью по всему свету. Старшая сестра вместе с мужем так и остались в Египте. Мой брат Музаффер, не будь промах, женился на девушке из богатой семьи, но жить ему пришлось в доме тестя па Принцевых островах. Все другие родственники и знакомые, которые по праздникам и приёмным дням когда-то обивали пороги нашего дома и лобызали край отцовского платья, теперь боялись произнести вслух его имя. О! Все они теперь сделались патриотами и даже революционерами. Только от Махмуд-эфенди каждую неделю мы получали письма.

Будущее, казалось, совсем не волновало отца. Как я в прежние времена, он целыми днями сидел в халате и ермолке перед окном и читал стихи средневековых поэтов.

Два с половиной года прошли без каких-либо знаменательных событий. В конце зимы отец неожиданно заболел воспалением лёгких и умер.

Я хорошо помню его последний день: когда я давал ему лекарство, меня поразил цвет его лица - оно было жёлтое, как воск. Отец лежал, полузакрыв глаза, и еле дышал. Не открывая глаз, он взял мою руку и положил её себе на грудь. Потом медленно поднёс к губам и стал по очереди целовать кончики моих пальцев. Отец целовал мои пальцы, а я стоял, не шелохнувшись, пока он не впал в забытие.

Теперь мне вдруг иногда становится жалко прожитых на острове впустую двух с половиной лет, но когда я вспоминаю, как, умирая, паша-батюшка целовал мои пальцы, я мучительно стыжусь своих мыслей и проклинаю себя, словно допустил неуважение к его памяти.

Вернувшись в Стамбул, я подробно рассказал Махмуд-эфенди о последних днях отца.

Слушая мой рассказ, старик плакал, как малое дитя.

- Иффет-бей! Я - мусульманин и кривить душой не стану. С вашим отцом поступили очень несправедливо. Халис-паша был честным человеком. Он никогда никому не хотел зла. Как ни настаивал падишах, но ведь паша и трёх недель не оставался на посту шефа жандармов. У него был один недостаток: уж очень он любил пофилософствовать, всё считал, что плыть против течения бессмысленно, - пусть всё идёт, мол, своим чередом. Помните тот разговор, когда вы оставили школу? До того дня я и сам не мог до конца понять Халис-пашу. Выставив вас за дверь, он побледнел, обхватил голову руками и проговорил: "Иффет меня добил. Даже мой сын презирает меня", - и я увидел, что он плачет.

Нет, я не жалею, что посвятил отцу эти два с половиной года, - они были очень важны для моего будущего.

Глава пятнадцатая

Мне уже исполнился двадцать один год, когда я вернулся в Стамбул. Я остался один в этом городе, никаких средств к существованию не имел. Старший брат затеял тяжбу из-за нашего поместья и особняка. Но надежд выиграть процесс было очень мало. Даже если бы он его и выиграл, дело это всё равно могло решиться только через несколько лет. К тому же от брата, да и от других родственников я не ждал никакой помощи.

Лицея я так и не закончил. Пока мы жили на Митилене, я прочел уйму разных книг, - только по нынешним временам это оказалось никому не нужной роскошью. Однако я не терял ни надежды, ни мужества. Мне чужда была страсть к накопительству, я с равнодушием относился к деньгам. А вот к работе у меня была великая страсть. И я готов был делать любое дело, лишь бы оно было честным.

Махмуд-эфенди и Джелаль помогли мне. Они настояли, чтобы я поступил на юридический факультет, и даже обещали подыскать мне работу, чтобы я мог и учиться, и зарабатывать себе на жизнь.

Поступить в университет не составило для меня особого труда. Я сразу начал усердно заниматься.

По возвращении с Митилены мне пришлось поселиться у брата, который жил на Принцевых островах. Его жена встретила меня весьма радушно, и тёща приняла как родного. В доме были мне рады и отнеслись ко мне с участием. Но я чувствовал себя у них, скажем прямо, не в своей тарелке: мне всё казалось, что я всех обременяю, что я прихлебатель, и потому с нетерпением ждал того дня, когда смогу найти хоть самую пустяковую работу и стану наконец сам себе господин.

Махмуд-эфенди и Джелаль делали всё возможное, чтобы устроить меня куда-нибудь секретарем, репортёром или учителем.

Наконец счастье как будто нам улыбнулось. Однажды Махмуд-эфенди прибежал ко мне прямо в университет и радостно сообщил:

- Мы подыскали вам, Иффет-бей, прекрасное место. Два раза в неделю будете давать уроки детям депутата Джемиля Керим-бея. И жалованье вполне приличное.

Джемиль Керим-бей был когда-то соседом моего учителя. До девятьсот четвёртого он служил правительственным чиновником в провинции. Когда объявили конституцию, его выдвинули депутатом от того санджака^[17], где он раньше занимал должность мутасаррифа^[18].

Вот уже третий год, как он переехал в Стамбул и жил с семьёй на своей вилле в Бебеке, на берегу Босфора.

Глава шестнадцатая

Став учителем, дающим частные уроки, я первым делом перебрался с Принцевых островов обратно в Стамбул и поселился в небольшом пансионе на Гедикпаша.

Семья брата не одобряла моего решения жить отдельно от них, но я выдвинул довольно веский довод: ездить каждый день, и в дождь и в снег, с островов в Стамбул, а из Стамбула - в Бебек и обратно мне будет трудно, и я буду очень уставать.

Я снова почувствовал вкус к жизни, который совсем, было, утратил за последние годы. Каждое утро я отправлялся в университет, после обеда ехал в Бебек, а если же у меня не было уроков, то, уединившись в своей комнате, читал книги.

Хозяйка пансиона, добрая армянка, в своё время была вхожа во многие богатые дома Стамбула. Она отвела мне лучшую комнату с окнами на Босфор, заботилась обо мне по-родственному и величала не иначе как "ваша милость".

И зажил я припеваючи, ни в чём не нуждаясь. У меня даже появилась "сердечная привязанность".

В доме напротив жила симпатичная девушка с большими красивыми глазами и вьющимися волосами. Она была дочерью портного. Сидя у окна, девушка всегда что-то шила, напевая звонким, прозрачным, как хрусталь, голоском весёлые или печальные песни.

Мы познакомились, и наша дружба с каждым днём становилась всё крепче. Однажды лунной ночью мы с ней даже гуляли. Взявшись за руки, мы спустились к самому берегу моря.

Отцу моих учеников было за пятьдесят. Помимо того что Керим-бей состоял депутатом, он занимался ещё торговлей и собирался, по его словам, в скором времени совсем бросить политику.

Возможно, Джемиль Керим-бей был и неплохим человеком, однако уж чересчур корыстолюбивым, - откровенный материалист, он во всём искал выгоду. Себя он ставил превыше всего на свете и, как все разбогатевшие выскочки, отличался удивительной заносчивостью. Эта черта мне особенно не пришлась по душе.

Мои подопечные, Хандан и Кемаль, в чём-то походили на своего отца. Но что касается занятий, я остался доволен их прилежанием и воспитанностью. Я, как умел, старался быть с ними обходительным и ласковым. И, в общем, мы зажили в дружбе и согласии.

Четырнадцатилетняя Хандан, умная, но очень впечатлительная и нервная девушка, быстро ко мне привязалась и стала посвящать меня даже в семейные тайны.

Девять лет назад у них умерла от туберкулеза родная мать. Не прошло и трёх месяцев, как отец женился на дочке одного измирского купца. Мачеха ещё с осени жила в Измире - её отец был тяжело болен. Судя по этим рассказам, Хандан не очень жаловала свою мачеху.

Более того, я чувствовал, что девушка несчастна, что в сердце она затаила обиду на эту женщину, и если я не обману её доверия, она скажет о мачехе ещё много злых слов. Я понял, что в доме эту женщину не любили. О скором её возвращении в Стамбул все говорили как о надвигающейся беде. Общее настроение невольно передалось и мне. И когда однажды Кемаль сказал, что на этой неделе возвращается мачеха, я почему-то вдруг приуныл.

Глава семнадцатая

За виллой Керим-бея раскинулся большой сад. У самых садовых ворот был построен небольшой павильон - словно специально для меня. Здесь я занимался со своими учениками и здесь же, когда не уезжал в город, спал.

Ведия-ханым возвратилась из Измира совсем больная. Как мне рассказала Хандан, смерть отца потрясла её. Она не выходила из своей комнаты, ни с кем не разговаривала. Прошёл месяц: мне так и не удалось её увидеть.

Однажды, приехав на виллу, я, как обычно, направился прямо к павильону. В комнате, отведённой для занятий, я застал своих учеников и их мачеху. Когда Хандан, представляя меня, назвала её "мамой", я подумал, уж не шутит ли она, и невольно посмотрел в лицо гостьи. Я представлял почему-то Ведия-ханым женщиной крупного сложения, дородной, величественной и властной; такая должна гордиться своей красотой, а красота её - в телесах да в ярком цвете лица. Но передо мной была маленькая, хрупкая и даже невзрачная женщина с бесцветным лицом, бледность которого ещё больше подчёркивали строгое чёрное платье и гладко причёсанные, туго завязанные сзади волосы, стягивавшие кожу лица. Она скорее напоминала девицу, засидевшуюся в невестах, нежели молодую даму.

- Я привела вам нового ученика, эфенди, - сказала она, показывая на своего шестилетнего сына. - Нихад хочет учиться вместе с Хандан и Кемалем. Я надеюсь, что он будет вести себя хорошо. Только на этом условии я могу просить вас принять его.

Мне уже приходилось встречать Нихада в саду, и я даже пробовал заговорить с ним. Но он дичился меня. Стоило его позвать, он тут же пускался наутёк.

И теперь одной рукой он крепко уцепился за мать, а другой - закрывал лицо. Чуть не силой я оторвал его от матери. Потрепав его курчавые волосы, я усадил мальчика рядом с собой и начал урок.

Ведия-ханым побыла в классе минут десять. Сначала она неподвижно и безмолвно сидела в кресле. Потом несколько раз прошла, полистала книги, заглянула в тетради и тихонько удалилась.

С того дня я стал встречать её довольно часто. Иногда мы сталкивались в саду, когда она гуляла с детьми. Обменявшись несколькими ничего не значащими словами, мы расходились в разные стороны. Порой

она заходила к нам во время урока. Всегда в одном и том же чёрном платье, медлительная и молчаливая, она появлялась и исчезала, точно привидение: придёт, посидит в углу и, не сказав ни слова, незаметно уйдёт.

Мало-помалу я стал чувствовать себя в их семье своим человеком. Раза два в неделю я оставался ночевать. Если ждали гостей, то непременно приглашали и меня.

Когда приезжали гости, Ведия-ханым нисколько не менялась - была так же спокойна и молчалива. Я ни разу не видел, чтобы она первая с кем-нибудь заговорила, от души рассмеялась, заинтересовалась бы чем-нибудь или проявила к кому-то участие. Это было замкнутое и гордое существо, подверженное меланхолии и грусти. И внешность её соответствовала характеру: прозрачное, бледное лицо с тонкими чертами, бесцветные губы, опущенные вниз глаза, всегда прикрытые густыми ресницами, и брови, доходящие чуть ли не до висков.

При беглом взгляде такое лицо ничем не могло привлечь внимания.

Я, например, долгое время думал, что у неё чёрные глаза. Но как-то во время разговора я вдруг заметил, что они жёлто-зелёные и в то же время удивительно ясные и глубокие. Стоило только увидеть эти глаза, как лицо её казалось уже совсем другим: тонкие черты преображались, удивляя своей еле уловимой, очень своеобразной красотой, губы оживали и становились нежно-розовыми, словно влажные лепестки после дождя.

Почему в доме не любили эту женщину и жаловались на неё - я никак не мог понять.

Глава восемнадцатая

- Иффет-бей, вы, наверное, очень весёлый человек?

Я объяснял детям какую-то трудную задачку по арифметике. Они никак не могли её понять, путались ещё больше и терялись. Спокойно, не раздражаясь, я повторял свои объяснения, а чтобы подбодрить ребят, приводил смешные примеры и не скупился на всякие шутки и прибаутки.

Я чувствовал, что Ведия-ханым, сидевшая в углу в своей обычной позе с книгой на коленях, не сводит с меня глаз. Когда урок закончился, у меня невольно вырвался вопрос:

- Чему вы так удивлялись, ханым-эфенди?

- Удивлялась? Нет. Я только...

Ведия-ханым слегка покраснела и не закончила фразы.

Порой у меня бывает отличное настроение, и тогда всё мне нравится, я доволен собой и окружающими, с надеждой смотрю в будущее, радуюсь оттого, что живу и дышу в этом мире. И сердце моё наполняется нежностью и состраданием к людям. Я готов открыть его первому встречному. В такие минуты я не способен ни на что дурное.

В тот день у меня было именно такое настроение. Нисколько не стесняясь, я заговорил свободно и вдохновенно:

- Возможно, вы и правы, ханым-эфенди. Только моё теперешнее положение вряд ли может располагать к веселью. Когда-то я был избалованным мальчишкой, который жил припеваючи, не зная забот. По правде говоря, я и в старые времена не был приверженцем султана. Я рос самым обыкновенным ребёнком, чистосердечным и наивным. Можно сказать, я был демократом от рождения.

- Вот этого бы я не сказала, Иффет-бей. Наоборот, вы производите впечатление человека властолюбивого. Я обратила внимание, что вы даже и просите так, будто приказываете.

Я рассмеялся:

- Что вы говорите, ханым-эфенди? Это я-то? Да совсем нет! Я маленький человек; я понимаю своё положение и мирюсь с ним. Вы, возможно, заметили, что я не позволяю себе даже высказывать собственное мнение и спорить с кем-либо, кроме моих учеников?

- Нет, нет, Иффет-бей! Может быть, вы сами того не замечаете, но вы человек очень гордый.

- Ваш покорный слуга, ханым-эфенди, - улыбаясь, возразил я, - считает

себя всего лишь благоразумным человеком. Достаточно благоразумным, чтобы не переоценивать своих возможностей. Меня никогда не мучила жажда счастья и успеха, поэтому, попадая в беду, разочаровываясь, я никогда и не унывал, даже на мгновение. Знаете, когда я буду гордиться собой? Когда сумею доказать себе и людям, что и я могу самостоятельно прожить в этом мире, когда собственными силами создам себе положение. Разве человек, рассуждающий вот таким образом, не подлинный демократ?

- Почему же вы в таком случае сторонитесь людей?

- Я?

- Может быть, я неправильно выразила свою мысль? Я хочу сказать: почему вы не такой, как все? Почему же вы не считаете себя равноправным в обществе, ну хотя бы среди людей, которые бывают в доме у Джемиля Керим-бея? Почему в своей стране вы чувствуете себя иностранцем или гостем?

В растерянности я посмотрел на неё, не зная, что ответить. Странно было слышать подобные слова от этой тихой и, казалось бы, совсем простой женщины.

Однако я быстро овладел собой и, собравшись с мыслями, сказал:

- Видите ли, ханым-эфенди, и на это имеются особые причины. Вы знаете, что, по нынешним понятиям, имя нашей семьи опозорено. Позор этот волей или неволей падает и на мою голову. Ведь я не оставил своего отца и последовал за ним в ссылку. Это был мой долг. И будь я теперь таким, как все, мне могут сказать, что я лицемерю. Если быть откровенным, к новому порядку я не питаю никакой ненависти или неприязни.

При упоминании о долге перед отцом Ведия-ханым, очевидно, вспомнила о своём горе, ведь она всё ещё носила траур. Я заметил, как она сразу погрузилась. Она переменила разговор, стала рассказывать мне о своём отце, о его болезни с такими подробностями, словно была убеждена, что я непременно её пойму. Я понимал, что эта исповедь приносит ей утешение; мне почему-то казалось, что никому, даже своему мужу, который должен был быть для неё ближе, чем кто-либо другой, она ничего этого не рассказывала!

Глава девятнадцатая

У Джемиля Керим-бей был родственник, по имени Рыфкы-бей, которого я просто не выносил.

Этот молодой человек, в прошлом учитель начальной школы, за два года, при поддержке влиятельного родственника, да и благодаря собственной угодливости и услужливости, выскочил в люди, сделался видным чиновником в министерстве иностранных дел. Он принадлежал к той породе людей, которые всегда готовы лизать пятки начальству, зато к подчинённым, ко всем, кого они считают ниже себя, не знают ни жалости, ни пощады.

В какой-то вечер, когда он собирался приехать в гости, пригласили и меня. Я попытался, было, улизнуть, сославшись на занятость, но не так-то легко вырваться из рук Хандан и Кемаля. Волей-неволей мне пришлось остаться.

Весь вечер Рыфкы-бей с присущей ему бесцеремонностью и самоуверенностью разглагольствовал, утомительно и нудно. После ужина он решил устроить Кемалю экзамен. Сначала он заявил, что тот недостаточно бегло считает по-французски.

- Главное - это практика, - сказал он назидательным тоном, повернувшись в мою сторону. - Вы должны как можно больше говорить с ним по-французски.

Я почувствовал, что бледнею, и опустил голову.

После французского Рыфкы-бей перешёл к арифметике. Поманив меня пальцем, как извозчика на улице или официанта в ресторане, он принялся писать на полях газеты цифры, время от времени спрашивая меня: "Вам понятно?"

Джемиль Керим-бей хоть и не слушал его рассуждений, но поддакивал:

- Правильно, беим. Вот именно. Арифметика - важный предмет. Её нельзя недооценивать.

Так мы просидели ещё с полчаса. Я крепился из последних сил.

Наконец стенные часы пробили десять, и Рыфкы-бей поднялся:

- Я велел подать экипаж. Может быть, он уже у ворот?

- Если подан, придут и скажут, - успокоил его Джемиль Керим-бей. - Впрочем, сейчас выясним, - и, обратившись ко мне, сказал: - Узнайте быстренько, не подан ли экипаж?.

В растерянности я вскочил и, выходя из гостиной, натолкнулся на курительный столик.

Вслед за Рыфкы-беем стали разъезжаться и другие гости.

Через сад я направился к себе в павильон. У самого берега моря между миндальными деревьями в одиночестве бродила Ведия-ханым. Я хотел пройти мимо незамеченным, но она окликнула меня:

- Иффет-бей, вы уезжаете в Стамбул завтра?
- Вам что-нибудь угодно, ханым-эфенди?

Я невольно спросил таким тоном, словно хотел сказать: "И вам тоже что-то угодно от меня?"

Ведия-ханым склонила голову и не ответила. По её виду нетрудно было догадаться, что она чем-то расстроена.

Наше молчание затянулось, и я поспешил нарушить его:

- Совсем прохладно. Вам нужно вернуться домой,
- У меня разболелась голова. Вот я и хочу освежить её. Значит, вы завтра уезжаете. А когда вы вернётесь?

- Возможно, в четверг, - ответил я после некоторого раздумья.

- А книгу, о которой вы говорили, привезёте?

- Да. Но если я буду очень занят и не смогу приехать, то пришлю её вам. У нас на юридическом скоро экзамены. Приходится много заниматься.

- Я так и знала!- вскрикнула Ведия-ханым, даже не скрывая своего волнения. - Наверное, мы вас вообще больше не увидим. Я изобразил удивление и натянуто рассмеялся:

- Это почему же? С какой такой стати? Ведия-ханым даже не улыбнулась.

- Из-за этой дурацкой истории сегодня вечером.

- Какой истории?.

- Не надо притворяться, прошу вас. Почему вы ему не ответили? Не поставили его на своё место?

- Кто? Я? Но простите меня, ханым-эфенди, а кто я такой? Учитель, которому платят жалованье. Разве учитель имеет право быть невежливым с гостями своего хозяина? Что гости захотят, то он и должен делать. На то их право. Разве не так?

- Вот видите, я же говорила. Хотя вы и кажетесь покладистым, но на самом деле вы очень самолюбивы.

О, Ведия-ханым была совсем не той робкой и тихой женщиной, за

которую я её до сих пор принимал. Хрупкое тело её, плотно обтянутое платьем, трепетало; глаза горели страстью.

Наступило томительное молчание.

- С вашего разрешения, ханым-эфенди, я пойду.

- Завтра мы ещё увидимся с вами?

- Я должен буду уехать рано.

- Дети вас полюбили.

- Я тоже к ним привык.

- Они будут очень огорчены.

- Я тоже. Они для меня стали родными... Я всегда их буду помнить.

Вас я тоже никогда не забуду. Всю жизнь я буду вам признателен за внимание, за всё, что вы для меня сделали.

- Иффет-бей, я хорошо понимаю, как оскорблено ваше самолюбие. И всё же, несмотря на это, я прошу вас остаться.

Я молчал.

- Вы поняли почему?

На её длинных опущенных ресницах блеснули слёзы.

- Хорошо, я останусь, - глухо проговорил я, с трудом переводя дыхание, словно мне не хватало воздуха. - Что мне теперь оскорбления!

Глава двадцатая

Это была моя первая любовь. Конечно, и до этого я влюблялся - мимолётная, быстропроходящая детская влюблённость, - какая юность проходит без увлечений! Но ни одно из них не коснулось моего сердца.

Я полюбил Ведию чистой юношеской любовью. Я жил как во сне, ничего не видя и не замечая. Всё, что происходило вокруг, потеряло всякий смысл. Мир перестал для меня существовать, он должен был лишь обрамлять эту удивительную любовь. Для этой любви рождались и умирали дни, сменялись времена года.

Мы встречались по ночам на морском берегу. Я вылезал из окна своей комнаты, прыгал прямо на набережную и шёл к развалившемуся сараю, где хранились лодки. Там я ждал Ведию.

Она стала беспечной и отчаянной, как пятнадцатилетняя девчонка, не признавала никаких опасностей, хотя нас всегда могли заметить.

Помню, как однажды ночью нас чуть не до смерти напугала залаявшая в саду собака. Пальцы Вееди, которые я сжал в своей ладони, были ледяными. И когда собака уже замолчала, мы долго ещё прислушивались к ночной тишине.

В ту ночь Вееди впервые высказала мне свои опасения:

- Нихад спит в отдельной комнате. Обычно он не просыпается по ночам, но кто его знает, - вдруг проснётся. Хватится, начнут искать в доме, а меня нет.

Подобные опасения меня не оставляли с первой нашей встречи. Однако на этот раз я постарался её успокоить:

- Ничего страшного. Подумают, ты вышла в сад подышать свежим воздухом.

- А если станут разыскивать? Придут сюда?

Я показал на тёмные воды, плескавшиеся у наших ног, и торжественно произнес:

- Тогда. Тогда я бесшумно брошусь в воду. Ты останешься здесь одна. И никто тебя не заподозрит.

Вееди сочла мои слова за шутку. Но я был искренен. Я рассказал ей легенду о мельнице в Дамладжике, а потом торжественно поклялся, что ради неё готов пожертвовать собою, как тот крестьянский парень, который ценой жизни спас честь любимой женщины.

Я вспомнил об Исмаиле и Айше ещё во время нашей первой встречи

на берегу моря. Всё складывалось у нас, как в той легенде, - эта мысль, словно навязчивая идея, с каждым днём всё глубже укоренялась в моем сознании. Наша любовь была безнадежной, и на лучший исход я и не мог рассчитывать. В сущности, я с детства привык думать о самопожертвовании, и готовность к этому была у меня в крови. Любовь потрясла меня до глубины души, чувства мои уже не вмещались в моём сердце, вот почему меня томила безумная жажда самопожертвования.

Глава двадцать первая

Прошло четыре месяца, как мы впервые встретились в саду и признались друг другу в любви. Чем я смог понравиться Ведии? Уже потом я понял это. Такая тихая на вид, безропотная и даже болезненная, она на самом деле была гордой и впечатлительной. Джемиль Керим-бей не понимал, да и не пытался её понять. И она не любила своего мужа; больше того, она ни капли не уважала его, считая Керим-бея хитрым, самодовольным и вульгарным грубияном. Она не раз повторяла, что он, дескать, не человек, а настоящая марионетка - уже несколько лет они жили врозь. Ведия рассказала мне о Джемиле Керим-бее много такого, о чём я и не подозревал: о его бесчисленных любовницах, пьянстве и распутстве, - она говорила об этом спокойно, без всякой горечи, словно её всё это не касалось.

Однажды я спросил её, за что она могла полюбить такого заурядного, такого недостойного человека, как я, к тому же ещё совсем некрасивого, - и рисковать своей репутацией, своим положением.

Она взяла мою руку в свои ладони и, глядя на неё, задумчиво произнесла:

- Ты даже не представляешь себе, Иффет, что человека больше всего красит истинное благородство. У тебя и руки не такие, как у других.

В конце августа я заболел воспалением лёгких, не очень серьёзно, правда, но, прикованный к постели, вынужден был провести две недели дома.

Я начал поправляться. Было полуденное время, я опустил шторы, чтобы солнце не светило прямо в окно, и комнату окутал жёлтый, тревожный сумрак. Меня охватило непонятное беспокойство.

В дверях неожиданно появилась хозяйка пансиона.

- Там ваша двоюродная сестра из Карамюрсея пожаловала. Вас хочет видеть.

Я вскочил с кресла и направился к двери встречать гостью. С чего это вдруг Макбуле оказалась в Стамбуле? На лестнице слышались лёгкие шаги. Я вышел в прихожую. Передо мной стояла Ведия. На ней был чёрный просторный чаршаф, какой носят провинциалки, лицо - плотно

закрыто.

Хозяйка, проводив гостью до дверей моей комнаты, оставила нас одних. Не находя слов, я безмолвно припал к руке любимой.

Ведия беспокоилась, не зная, что со мной случилось. И тогда она решилась на отчаянный шаг: пренебрегая опасностью, пришла ко мне. Два часа, что мы пробыли вместе, пробежали совсем незаметно, Ведия ни за что не хотела уходить.

Бедная женщина выглядела утомлённой, - пока искала мой дом, от жары и волнения ей чуть ли не сделалось дурно. Усталые глаза её затуманились, на бледном лице выступили пунцовые пятна, словно от солнечного ожога.

Такая нерешительная по своей натуре, Ведия проявила поистине мальчишескую отвагу, осуществляя свой замысел. Она подробно мне обо всём рассказала. Сначала Ведия зашла в гости к подруге, которая жила в Шишли. А там - бывают же такие случайности - она опрокинула чашку с кофе на свой чаршаф. И поскольку она собиралась ещё зайти на базар, то подруга и выручила её, отдав ей огромное чёрное покрывало.

В моей жизни не было более счастливого дня! Я и до сих пор так думаю.

Глава двадцать вторая

Наступила зима. Мы больше уже не могли встречаться по ночам на берегу моря.

Иногда, во время уроков с детьми, Ведия снова приходила в класс и, забившись в угол, сидела тихонько, как прежде, в своём кресле.

Боясь, чтобы Хандан нас не заподозрила, мы не решались даже взглянуть друг другу в глаза.

Джемиль Керим-бей раз или два в неделю обычно оставался ночевать в Стамбуле, якобы из-за неотложных дел. В одну из таких ночей я упросил Ведию прийти в сад. Она согласилась.

После полуночи мы встретились с ней в условленном месте. Словно назло, пошёл дождь. Было очень холодно. Я побоялся, как бы Ведия не простудилась, и стал настаивать, чтобы она вернулась в дом. Но молодая женщина не хотела меня слушаться. Она положила мне на плечо голову, волосы её были мокрые от дождя. Она не хотела даже запахнуть пальто, чтобы уберечься от ветра, и только шептала:

- Ну и пусть. Пусть я заболею, велика важность. Я ласково гладил её по голове и настойчиво вёл к садовой калитке, уговаривая:

- Нам лучше попрощаться. Я не хочу, чтобы ты заболела.

Но Ведия не отпускала моей руки.

- Идём со мной, Иффет, - прошептала она. - Все уже спят. Никто не заметит.

Мы миновали тёмный дворик, поднялись на четыре ступеньки и очутились в маленькой комнате, окнами на море. Из неё через застекленную дверь мы прошли в другую - это был рабочий кабинет Джемиля Керим-бея, где он принимал самых важных гостей и посетителей.

- Давай зажжём лампу? - предложила Ведия.

Я оторопел. Потом, по её улыбке, понял, что она шутит, - моё волнение забавляло её.

Мы сели рядышком на тахту у окна. Точно маленький ребёнок, утомившийся после беготни за целый день, она затихла, положив голову мне на плечо и крепко обвив руками мою шею. Я чуть касался губами её влажных волос и глядел, не отрывая глаз, на её тонкий профиль. Так, молча, мы просидели некоторое время, не проронив ни слова.

Наверху, в коридоре, часы громко пробили два.

- Разреши, я пойду, Ведия, - сказал я и тотчас же почувствовал, как

она, словно испугавшись, что я сейчас уйду, ещё крепче прижалась ко мне.

- Боишься?

- Я думаю не о себе. Мне страшно за тебя.

- Все давно уже спят.

- Всего не предугадаешь. А вдруг из-за меня с тобой стряется беда?

Что тогда я буду делать?

Ведия закрыла мне рот рукой.

- Молчи! Я знаю. Всё уже обдумала. Если станет известно и разразится скандал, я непременно умру! Вот так, Иффет.

- Но как же ты решилась тогда?

- Ты же знаешь, что я люблю тебя. Но эта встреча - чистое безумие, мы с тобой здесь первый и последний раз. До следующего лета я буду видеть тебя только днём, в присутствии детей, да, милый?

- Твоя воля. Для меня твоё благополучие важнее моей любви.

"Безумие", на которое мы решились в первый и последний раз, стало повторяться каждую неделю. Когда Джемиль Керим-бей уезжал в Стамбул, я оставался ночевать на даче. После полуночи Ведия спускалась в маленькую комнату и там в темноте ожидала меня. На даче жил старый садовник да две служанки. Садовник спал в комнатухе рядом с кухней, в другом конце виллы, а комната прислуги находилась на чердаке. Я боялся только одной Хандан.

Глава двадцать третья

В ту ночь мы встретились с Ведией, как обычно, в маленькой комнате. Погода была пасмурной, окрестности заволокло туманом, казалось, вот-вот начнётся дождь.

Я словно ощущал, как тело молодой женщины наливается усталостью. Она дышала порывисто, будто ей не хватало воздуха, и нервным движением сжимала мою руку.

Тяжёлая ночная духота давила и угнетала, - мне тоже было не по себе. Наше молчание становилось невыносимым, и, чтобы нарушить ночную тишину, я начал бессвязно шептать какие-то слова. Из окрестных садов доносился лай собак.

Ведия, казалось, заснула в моих объятиях. Вдруг она встрепенулась:

- Слышишь? Во дворе чьи-то шаги.

- Не бойся, никого там нет. Тебе почудилось.

Мы прислушались, потом, крадучись, подошли к окну. Ведия не ошиблась: во дворе, между воротами и домом, был слышен шум шагов.

- Перейдём в другую комнату, - прошептала Ведия. Мы тихонько прошли через полуоткрытую стеклянную дверь в кабинет Джемиля Керимбея. Угловое окно, выходившее на улицу, на наше счастье, было открыто. Через щели опущенных жалюзи мы стали смотреть наружу.

В одной из комнат на верхнем этаже горел ночник, и слабый свет от него падал на землю, словно свет далёкой звезды. Мы увидели три тени. Три человека тихо переговаривались, в одном я узнал старика садовника.

- Стой у чёрного входа! - приказал садовник кому-то, скрытому темнотой.

Двое подошли к окну, у которого мы затаились, и теперь нам хорошо был слышен их разговор.

- Он шёл оттуда, - садовник показал рукой в сторону миндальных деревьев. - Я разглядел только одного. Может, с ним ещё был кто. Потом шмыгнул в садовую калитку и пропал.

Около садовника стоял повар с виллы, принадлежавшей отставному генералу. Наверное, наш садовник уже успел оповестить всех соседей.

Наблюдая за дверью, которая выходила в сад, они продолжали тихо переговариваться:

- Ты хозяйку предупредил?

- Нет, нет. Обождём полицию. С минуты на минуту должны прибыть.

У чёрного входа караулит Зейнель. А ты давай встань вон у того угла. Чтобы не перелезли через стену.

Руки Веди, крепко обнимавшие меня за шею, похолодели, стали слабеть, - она теряла сознание. Я поднял её, на руках отнёс в другую комнату и уложил на тахту.

Я чувствовал себя совершенно спокойным, голова была ясна, - опасность только заставила меня собрать все свои силы и волю воедино. Я готов был к борьбе.

Путь к отступлению отрезан. Бежать бессмысленно, через несколько минут меня всё равно поймут. Но о себе я не думал. Главное: во что бы то ни стало спасти её!

Я вспомнил старую легенду об Исмаиле. Конечно, будь тут река, я, не задумываясь, бросился бы в воду.

На тахте Ведия билась в нервном припадке.

- Ради Бога, Ведия, оставь меня одного. Иди к себе наверх, закройся в комнате! Торопись, они сейчас придут.

Она не слышала и не отвечала мне, тело её сотрясилось от приглушённых рыданий.

Я стал растирать кисти её рук, приподнял её лёгкое тело и усадил, пытаюсь привести в чувство; потом чуть ли не силой вывел на лестничную площадку.

- Ступай! Оставь меня одного! - умолял я.

Она немного пришла в себя, опустила на ступеньку лестницы и спросила:

- Что будет с тобой, Иффет?

- Попытаюсь убежать. Не выйдет, - ну что ж, пускай арестовывают.

- Мы пропали!

- Нет! Они найдут меня одного. Почему я оказался здесь, зачем пришёл, этого они никогда не узнают.

- Всё равно мы пропали!.

- Я спасу тебя, Ведия! Я выдам себя за вора, за обыкновенного воришку. Да, да, скажу, что залез в дом, чтобы украсть.

Слова эти непроизвольно сорвались у меня с губ, и тут меня осенило: "Конечно, выход найден! Я выдам себя за вора. Разве это не геройский поступок?!"

Я едва не плакал от радости и волнения. Осыпая поцелуями руки и лицо Веди, я стал её умолять, чтобы она согласилась принять мою жертву.

Её первым естественным чувством было возмущение, она даже слушать не хотела о таком позоре.

Но я уже решился. Я говорил спокойно и уверенно:

- Ну хорошо, а если они узнают правду, ты думаешь, это будет меньшим позором? Любить чужую жену, отнять её у человека, который кормит тебя, - неужели это лучше, чем украсть какие-то жалкие гроши?

На улице послышались полицейские свистки, и это сломило последнее сопротивление Ведии. Ещё раз я поцеловал влажные от слёз глаза моей любимой, потом оттолкнул её от себя и вернулся в кабинет Джемиля Керим-бея.

Нужно ещё подготовиться к встрече с полицией. В секретере Джемиля Керим-бея должны быть большие деньги. Каминными щипцами я взломал ящики, пошарил среди бумаг, рассовал по карманам попавшие мне под руку банкноты, облигации и в последний момент прихватил заодно неисправные золотые часы. Послышался сильный стук в дверь, стёкла окон во всём доме задрожали.

Я решил сам открыть дверь и сдаться на милость полиции. Но на той самой лестничной площадке, где я только что простился с Ведией, силы оставили меня. Я опустил на ступеньку и закрыл лицо руками.

Глава двадцать четвёртая

Я провёл в доме предварительного заключения два дня и две ночи. На третий день, под вечер, Джеляль добился, чтобы меня выпустили под залог.

Джеляль ни за что не хотел оставлять меня этой ночью одного и затащил к себе домой чуть не силой. От усталости, от всех потрясений я чувствовал себя совершенно больным. Мой друг уложил меня в своей комнате.

- Постарайся, Иффет, сразу же уснуть. Завтра утром обо всём подробно поговорим.

Джеляль поставил на ночном столике рядом с кроватью свечу в подсвечнике и хотел, было, уйти, но я его задержал.

- И как у тебя, Джеляль, хватило смелости привести меня домой? А вдруг я тебя ограблю и убегу? - спросил я.

Джеляль подошёл ко мне.

- Ты, Иффет, видно, за дурака меня считаешь? Думаешь, я так же глуп, как судебный следователь?

Я опешил:

- Что ты хочешь сказать?

- Лучше оставим сейчас этот разговор. Спи. Завтра я надеру тебе уши.

Он направился к двери, но я схватил его за руку,

- Если ты хочешь, чтоб я и эту ночь провёл без сна, можешь, конечно, идти.

Волей-неволей ему пришлось вернуться, он пристально посмотрел мне в глаза и медленно произнёс:

- Ты сделал ужасную глупость, Иффет. Очертя голову бросился в огонь. Когда я узнал об этой истории, я сразу понял, в чём дело. Вчера я был у судебного следователя, видел твои показания и ещё больше убедился в своей правоте. Ни один порядочный вор не станет себя так вести: бить в грудь, требуя, чтобы его признали виновным. Да и будь у меня малейшее сомнение, оно бы сразу рассеялось, лишь только я, тебя увидел. Я знал, что ты наивен, как ребёнок, но никак не думал, что уж до такой степени.

Я почувствовал, что бледнею.

- Надеюсь, ты не проболтался следователю? - поспешно спросил я.

Джеляль торжествующе рассмеялся.

- Ну вот, ты и сам себя выдал. Успокойся. Был у меня такой соблазн, да я ничего не сказал. Вернее, пока ещё ничего не сказал. Но когда придёт

время восстановить истину...

От моей недавней слабости не осталось и следа.

- Ты этого не сделаешь! - в запальчивости вскричал я, перебивая Джеляля. - Я тебя всегда считал настоящим товарищем!

- Я давно понял, что ты любишь эту женщину. - Джеляль тоже начал горячиться. - Не бойся, я никогда не стал бы пытать её имя. Хотя на уме у тебя только оно. Последнее время ты словно с ума сошёл. Сколько раз я хотел поговорить с тобой начистоту, предупредить, что ты затеял опасную игру. Расскажи мне хоть сейчас всё, как есть. Может быть, мы и найдём какой-нибудь выход.

Отпираться было бесполезно, Джеляль и так всё знал.

- Послушай, Джеляль! Ты мой самый близкий друг. К тому же ты сам догадывался о моей тайне. Я думаю, ты не хочешь умножать мои муки. Я очень её люблю. У меня не было другого выхода, чтобы спасти её честь. На эту жертву я пошёл с радостью и никогда не буду об этом сожалеть.

- Ну, это мы ещё увидим, Иффет! И скоро увидим! - с нескрываемой иронией возразил Джеляль.

- Повторяю: я никогда об этом не пожалею, - спокойно и убеждённо продолжал я. - Пусть все будут считать меня преступником. Пусть мне вынесут суровый приговор. Какое это имеет значение? Понимаешь, я люблю её! Я сделал всё ради неё! И не жалею меня! Ты даже не можешь себе представить, Джеляль, какое это для меня утешение!

Несмотря на усталость, какое-то исступлённо-восторженное чувство переполняло мою душу. Я говорил о предстоящих страданиях, как о величайшем счастье.

- Бедный, несчастный ребёнок! - с горькой усмешкой произнёс Джеляль. - Да, вот такая юношеская горячность и доводит человека до того, что он всё бросает на полпути. Подумай как следует, Иффет: ведь только что ты был мрачнее тучи. Боялся посмотреть мне в глаза. А сейчас уже считаешь себя героем, страдающим во имя любви. И отчего же такие перемены? Да оттого, что ты убеждён, что я знаю твою тайну, понимаю тебя и сочувствую. Но наступит день, когда ни моё понимание, ни даже её любовь не будут для тебя достаточным утешением. Чтобы такого не случилось, мы должны найти выход. Ты не из тех людей, кто способен плыть против течения, кто может жить спокойно, бросив вызов обществу.

Наш спор с Джелялем продолжался до полуночи. Мой друг предлагал уладить дело непосредственно с Джемилом Керим-беем. Но я был убеждён, что такая попытка не даст никаких результатов и только вызовет у него излишние подозрения.

- Пусть всё идёт своим чередом. Я готов ко всяким неожиданностям.
Мы так и не смогли убедить друг друга.

Джелаль знает всю правду! Меня это пугало и в то же время радовало: сознание того, что я не упал в глазах своего самого уважаемого и любимого друга, давало мне новые душевные силы.

Впервые за три дня я уснул крепким сном, успокоенный, полный надежд.

Глава двадцать пятая

Мне повезло, - за это я должен благодарить случай.

В день суда погода испортилась. Подул холодный северный ветер. Начавшийся накануне снегопад перешёл в настоящую снежную бурю.

В коридоре суда было темно и пусто, как на улице. В зале - никого, кроме нескольких судейских чиновников и вызванных по моему делу свидетелей.

Джеляль нервничал.

- Иффет, - сказал он, отведя меня в сторону, - это самый ответственный, решающий момент в твоей жизни. Я буду защищать тебя как твой адвокат и как твой друг. Скажу тебе всю правду. Твоё будущее зависит от решения, которое вынесет сегодня этот суд. Он наложит на тебя страшное клеймо. Отныне ты будешь для всех вором. Пойми меня; ты беден, и твоё существование зависит от уважения и доверия к тебе людей. Видишь, я говорю тебе, ничего не скрывая.

Я крепко пожал руку друга, - она чуть дрожала у него.

- Другого выхода нет, Джеляль, и я уже ничего не могу сделать. Заявить суду, что я не вор и забрался ночью в этот дом, чтобы не грабить, а, ну, в общем, совсем с другой целью? Ты сам понимаешь, что поступить иначе я не могу. Ничего не поделаешь. Будь что будет!

Я старался успокоить и подбодрить его, словно не я, а он должен был сейчас сесть на скамью подсудимых.

В зале царил полумрак. Старик судья сидел, кутаясь в своё пальто на тёплой подкладке. Он с трудом сдерживал кашель и бесстрастным, едва слышным голосом задавал мне вопросы.

Мои ответы были коротки и ясны. Судебное разбирательство длилось очень недолго. Казалось, всем не терпелось побыстрее покинуть этот холодный мрачный зал.

Прокурор потребовал лишить меня свободы и заключить в тюрьму. Джеляль произнёс в мою защиту длинную речь.

Затем суд "за проникновение ночью в чужой дом и кражу со взломом" присудил меня к шести месяцам тюремного заключения.

Джеляль был вне себя, стал уговаривать меня подать кассацию.

- Напрасно стараешься, дружище, - сказал я ему. - Ничего, кроме мук и страданий, жалоба не даст. Лучше, если всё это скорее кончится.

Не проронив больше ни слова, мы медленно пошли по коридору.

Около лестницы, прислонившись к стене и обхватив руками голову, стоял старик.

Джеляль застыл как вкопанный; я невольно закрыл лицо рукой, - перед нами был Махмуд-эфенди. Его старенькое платье промокло от растаявшего снега, по седой бороде катились слёзы. Он подошёл, протянул дрожащие руки и заключил меня в объятия.

- Как же так, Иффет? - прошептал он. - Ах, сынок, сынок! - и захлебнулся слезами.

Только тогда я понял, как низко пал. Только что я считал себя героем, душа моя трепетала от восторга. Теперь мне было стыдно смотреть в лицо своему старому учителю, я готов был провалиться сквозь землю.

Мы постояли около лестницы с Махмуд-эфенди несколько минут, так и не сказав друг другу ни слова.

Прощаясь, старик снова обнял меня, потом надел на голову мокрый капюшон и, с трудом переставляя ноги, стал спускаться по лестнице.

- Ты очень бледен, Иффет, - сказал Джеляль. Я попытался улыбнуться.

- Это был самый тяжёлый удар, - ответил я.

Глава двадцать шестая

Когда меня привели в тюрьму, там шёл ремонт. Часть заключённых спала вповалку прямо в коридорах, точно овцы в загоне. Оказалось, что и в тюрьме протекция имеет силу. Джелялю удалось устроить меня в комнатуху надзирателя, которая была предоставлена во временное распоряжение наиболее "уважаемых" арестантов.

Одним из моих новых товарищей оказался налоговый Инспектор, сидевший за растрату. Другим - бойкий старикашка с седой бородкой, распутник и бабник; он пробрался в дом к соседке-вдовушке и пугал её револьвером. Третий был бывший писарь из кадастрового управления, Васыф-эфенди, ему дали восемь месяцев за то, что он избил начальника своей канцелярии. Четвёртый называл себя политическим.

Налоговый инспектор, родом из Румелии^[19], был одним из тех весельчаков, которые и в несчастье не теряют чувства юмора. Он первый меня приветствовал:

- Добро пожаловать! Да забудутся беды твои, брат мой! Сколько?

Я не сразу понял, что значит "сколько". Он объяснил:

- Я спрашиваю, сколько вам дали?

- Шесть месяцев, эфенди, - ответил я. Налоговый инспектор обернулся к писарю кадастрового управления:

- Смотри, Васыф-эфенди, значит, к лету, ко дню Хызыр-Ильяса^[20] все вместе выйдем. Теперь нас уже трое. Может, ещё одного подыщем. Сложимся по несколько лир, купим барашка, возьмём лодку и махнём за город, в Кытхане. Я прихвачу свой звонкострунный уд. А ещё мы возьмём с собой водки-ракы и закатим пир на весь мир. И пойдёт такое веселье, только держись! Конечно, и за "папашу" не забудем выпить.

Под "папашей" он имел в виду старика бабника: ему предстояло сидеть дольше, чем другим.

- Ради Аллаха, перестань нести околесицу, - огрызнулся старик. - Ещё не раз сюда вернёшься!

- А мы выпьем понемногу, чтоб головы не терять. Не то опять натворим чего-нибудь и, не приведи господь, в тот же вечер загремим.

Васыф-эфенди спросил, за что меня посадили.

- За воровство, эфенди, - не стесняясь, ответил я. Писарь пристально посмотрел мне в глаза.

- Оклеветали, конечно!

- Нет. К сожалению, правда, эфенди. Налоговый инспектор расхохотался.

- Вот это да! Говоришь, братец, как пред Богом. Люблю прямодушных.

С кем не бывает. Случилось несчастье. Попал в беду. В конце концов, не убьют же за это. Только вот и так бывает: один упрёт мешок, а потом наговорит с три короба, - и всё шито-крыто. А ты на какие-нибудь пять курушей^[21] позаришься, и заткнут тебя вот в такую дыру.

- Говоришь: правду люблю, - а сам чего нам тут врал? - подколот его старикашка.

Инспектор вдруг сделался серьёзным и склонил голову, будто и впрямь находился перед судом.

- Ей-ей, папаша, ничего не врал. Взял я сумку с деньгами, иду. Вдруг дождь начался, а я феску только отгладил. Нет, думаю, дай-ка сяду в трамвай. Прыгнул в трамвай. Стою на задней площадке, а около меня какой-то тип трётся. Оттеснил он меня плечом, а потом как дёрнет из рук сумку, прыгнул и бежать. - И он стал, словно на сцене в театре, изображать во всех подробностях, как его грабили.

"Папаша" не выдержал, вскочил и швырнул феску об пол.

- Вы только его послушайте! - завопил он и саркастически рассмеялся.
- Так тебе и поверили. Поди промотал денежки. - Старик даже присвистнул.
- Нет, ты скажи нам лучше по-честному. Если с красоткой их прогулял, - туда им и дорога. А если, как последний болван, в карты продул, - нет тебе прощения!.

Инспектор, стараясь замять разговор, перешёл в наступление и поднял "папашу" на смех.

- А ты знаешь, - обратился он ко мне, - что натворил этот старикашка? Не постеснялся своих сединок и полез к вдовушке, пистолетом ей угрожая. А?.

Молодой писарь, сидевший в углу, глубоко вздохнул.

- Сердцу не прикажешь, оно не посмотрит, молод ты или стар!

- Ты прав, сынок, - откликнулся "папаша". - Сердцу всё равно, стар ты или молод. Но, видит господь, я тут не виноват. Понимаешь, эта женщина вдова. Покойный муж её был моим другом. Она ещё при нём начала крутить. Только я, бывало, появлюсь к ним домой, она выглядывает в щёлочку и смеется. Или, к примеру, сварит кофе, а потом оголит ручку до локтя, ей-Богу, и из-за двери протягивает поднос с чашками. Я, конечно, тут же опускал глаза и обращал мысли к Богу, всё-таки жена друга. Но муж её возьми да умри. Что ни говори, эфенди, но женщина тоже человек. Надо было ей помочь. И вроде бы я стал её опекать, - как-никак моя соседка, к

тому же одинокая, да и жена моего давнишнего друга. А налоговый инспектор, знай себе, посмеивался и всё подзуживал:

- Ой, уморил, папаша! Наверное, это ты, чтобы совершить благое, угодное богу дело, прихватил с собой револьвер? А?

Старик презрительно скривил губы.

- Ну что за грязные мысли у тебя, парень! - И, не удостоив его взглядом, продолжал: - Так вот, эфенди, стала эта баба со мной ещё больше заигрывать, а на самом деле хотела меня ограбить. И отдал я ей своё сердце. Начал преподносить подарки, засахаренные каштаны, потом туфли, затем всё, что только её душе угодно было. Ничего не жалел. Только, при ближайшем рассмотрении, баба-то такой пройдохой оказалась. А ведь выдавала себя за порядочную. Не буду тянуть, скажу прямо, эфенди, узнал я, что она спуталась с одним щёголем из нашего квартала. Как-то вечером подвыпил я и думаю: "Эх, была не была!" Перелез через забор во двор, а оттуда прямо в её комнату над садом. Увидела она меня - да как заорёт. Замолчи, будь ты проклята, говорю ей, чего расшумелась?! Ничего плохого тебе не сделаю, хочу только несколько слов сказать. А она слушать даже не хочет. Подняла такой вопль, что все соседи сбежались. Кинулись меня держать, а подлая баба тут и набрехала, будто я револьвером размахивал. При мне точно был револьвер. Да только какой это револьвер - одно название, - старьё, давно надо было выбросить. Вот так и погорел из-за этой развратницы.

Старик, как и налоговый инспектор, был весёлым человеком. Они то потешались друг над другом, то начинали рассказывать про свои печали и горести.

Васыф-эфенди, писарю кадастрового управления, было лет тридцать. Это был высокий, крупно скроенный, простодушный человек. Он начал служить в кадастровом управлении с шестнадцати лет.

- Четырнадцать лет тянул я лямку в своей конторе и дослужился наконец до семисот курушей. Ремеслу я никакому не обучен, вот и приходилось сидеть тихо и терпеть всё. Человек я смирный, послушный, от работы не бегаю. Мой начальник и взвалил на меня все дела. Но ему мало этого: гоняет меня на базар то за мясом, то за овощами, - и так целый день: сбегай туда, отнеси это, принеси то! Будто и впрямь я ему слуга. У меня самого семья большая, не оставлю же я её с голоду помирать - потому и терпел, как ни трудно приходилось. А ему всё никак не угодишь. Однажды из-за какого-то пустяка пожаловался на меня управляющему. "И как вам не грешно было, - говорю. - Вы хотите лишить меня последнего куска хлеба". Он распалился, стал поносить меня последними словами. Ну, тут я не

выдержал. Повалил его на землю и давай топтать. В кровь избил. Посадили меня в тюрьму, это ещё полбеды. Запретили брать на государственную службу - вот это хуже!

Васыф-эфенди, как и большинство канцелярских служащих, был по природе своей неподвижен и инертен, крайне мнителен и недоверчив.

- Кончилась моя жизнь теперь, - жаловался он мне. - Придётся с голоду помирать, - и плакал, как ребёнок.

Наш четвёртый сосед был какой-то чудной субъект, самодовольный и очень заносчивый. Получил девять месяцев за мошенничество, но считал себя "политическим", потому до разговоров с уголовниками не опускался.

Когда меня поместили в их камеру, он пришёл в такое негодование, что написал жалобу начальнику тюрьмы: дескать, его содержат в одной камере с обыкновенными ворами. Об этом я узнал через несколько дней от налогового инспектора.

Глава двадцать седьмая

Проходили дни и недели. Я чувствовал себя посторонним в этом новом для меня мире, мне были чужды его радости и печали, были непонятны споры между окружающими меня людьми. Я стыдился себя, своего положения, но не испытывал ни раскаяния, ни страха. Всех этих людей, что были рядом со мной, я видел как будто во сне - они были мне чужими, больше того, порой мне казалось, что их вовсе не существует. Может быть, от любви помутился мой разум? Или я заболел? Не знаю. Я словно оцепенел. Я валялся в полудремоте на нарах, и не только малейшее движение, но даже мысль о нём уже представлялась мне невыносимой пыткой. Я потерял аппетит, не ел и не пил, однако разум мой и тело пребывали в каком-то странном, непроходящем состоянии опьянения. Порвав связь с внешним миром, я открыл в своей душе новый мир, и он был поистине удивителен. Для человека, попавшего в этот мир, уже не существовало ни запретов, ни ограничений, ему неведома была усталость, и только невозможно было понять, то ли человек движется навстречу неизвестному, то ли таинственная даль движется навстречу ему самому. Даже прижимая Веду к своей груди, я не испытывал такого острого, такого полного счастья, ибо тогда я не был только самим собой.

Наверно, я просто заболел от тоски и тревоги.

Наступил февраль. Дожди, не прекращавшиеся почти несколько недель, перестали идти. Выглянуло солнце. Из щелей старой, разваливающейся стены напротив окна вылезла зелёная травка, запахло весной.

Ко мне подошёл надзиратель и сказал, что какая-то женщина, прибывшая из Карамюрсея, получила разрешение на свидание со мной.

Сердце бешено забилося. Я не в силах был подняться с нар. Конечно, это Ведия! Хоть я себе в этом и не признавался, но её визита ждал все эти недели. Ради неё я исковеркал свою жизнь. Должна же она была ради меня пренебречь опасностью.

Ещё утром, услышав запах весны, увидев солнце, я понял: в этот день должно произойти что-то необычное!

Прошлым летом, когда я лежал больной в своём пансионе на улице Гедикпаша, Ведия тоже пришла ко мне, назвавшись родственницей из Карамюрсея. Поди, опять закуталась в большой чёрный чаршаф, какой носят в провинции.

Шагая за надзирателем, я видел перед собой тонкое, бледное лицо Ведии с покрасневшими от солнца щеками. Именно такой она была в тот день.

Напрягая всю свою волю, чтобы не выдать себя нечаянным взглядом или неосторожным движением, я вошёл в тюремную канцелярию. На свидание ко мне пришла вовсе не Ведия, а моя тётушка Хатидже из Карамюрсея.

Увидев моё разочарованное лицо и печальные глаза, тётушка, с трудом сдерживая слёзы, стала утешать меня:

- Ничего, Иффет, не горюй! В жизни всякое бывает.

Мы просидели в канцелярии около получаса. Тётушка ни за что не хотела верить, что я пытался совершить кражу.

- Я знаю, Иффет, тебя оклеветали.

Может, она не хотела верить моим словам? Или же из-за любви ко мне не могла даже допустить мысли о том, что я могу так низко пасть? Или просто делала вид, что не верит, - из жалости ко мне? Этого понять я не мог.

Чтобы переменить разговор, я стал её расспрашивать о житье-бытье в Дамладжике. У бедной тётушки оказались тоже крупные неприятности: вот уже несколько лет дела на ферме шли плохо, хозяйство вели зятья и так запустили его, что тётушка была теперь кругом в долгах. Придётся вскорости ферму продать, а на деньги, что останутся после уплаты долгов, купить в Стамбуле для себя небольшой домик.

Я рассеянно слушал её и думал о своём: "Ах, тётушка, тётушка Хатидже, в моём несчастье и вы, сами того не ведая, виноваты. Не окажись я в Дамладжике и не услышь тогда легенду о мельнице, может, я и не поступил бы так".

Чтобы повидаться со мной, бедная тётушка Хатидже, несмотря на преклонный возраст, отважилась приехать из далекого Карамюрсея. Казалось, это должно было доставить мне радость, но всё получилось наоборот: свидание с тётушкой вызвало в моей душе горькие чувства. Я понял, что человек, которого я до сих пор так любил, на которого молился, для меня потерян навеки. На мне стоит клеймо пострашнее, чем язвы прокажённого, и я должен всю жизнь носить знак позора на своём челе. Я не смею глядеть в глаза человеку, как бы ни любил его! И должен виновато опускать голову, а на меня он будет смотреть только с жалостью.

Именно в ту минуту, когда я увидел перед собой тётушку, я понял, что Ведия навсегда потеряна, мои надежды надо похоронить.

Почему же так случилось? Только потому, что пришла тётушка, а я

мечтал увидеть Ведию?

С того дня я уже не ждал её. Я остался в полном одиночестве, у меня не было больше никаких надежд.

Глава двадцать восьмая

Я отбыл свой срок. В воскресенье, после полудня меня и писаря Васыф-эфенди выпустили на волю.

- Не дай Бог сюда вернуться! - вырвалось у моего товарища. - Видно, тюрьма на роду мне была написана. - И из глаз его хлынули слёзы.

До трамвайной остановки на площади Султан-Ахмеда мы шли вместе. Здесь наши пути разошлись. Ему надо было в Эдирнекапы, на западную окраину города, где жила его семья. Я же вообще не знал, что мне делать и куда идти.

Стоял прекрасный майский день. Люди толпами шли к морю подышать свежим воздухом.

Васыф-эфенди свернул самокрутку и подошёл прикурить к какому-то старичку, ожидавшему трамвай. Вернувшись, он шепнул мне на ухо:

- Понимаешь, Иффет-бей, я вдруг застеснялся просить у него огня, будто на лбу у меня написано, что я из тюрьмы. Уф, до чего тяжело, клянусь аллахом!

Я испытывал точно такое же чувство. Мне казалось, что все знают, кто мы такие, и оглядываются на нас. С каким нетерпением я ждал того дня, когда выйду из тюрьмы, стану опять свободен, смогу идти, куда хочу. А теперь я стеснялся людей, боялся их, не решался шагнуть в толпу и смешаться с ней. Городская улица, площадь внушали мне панический страх.

Васыф-эфенди дёрнул меня за рукав.

- Может, пройдемся, если у тебя есть время, заглянем в кофейню, выпьем по чашечке кофе на берегу моря?

Я с удовольствием согласился.

Мы не решались расстаться друг с другом. С людной площади свернули в пустынные улочки и, петляя по ним, дошли до маяка Ахыркапы.

Васыф-эфенди предложил посидеть в небольшой кофейне на открытом воздухе, под развалинами городской стены. Посетителей оказалось немного. Это были главным образом бедняки-христиане, пришедшие сюда всей семьей, со своими харчами, чтобы отметить праздник весны. Мальчишки носились как угорелые, девочки чинно собирали цветы около крепостной стены.

Внизу, прямо под нами, в другой кофейне какой-то молодой пожарник под завывание зурны пел газели. У музыканта был чахоточный вид, и играл

он плаксиво. А вот молодой парень пел здорово. Музыка навела Васыф-эфенди на грустные размышления.

- Выпустить-то нас выпустили, а что делать теперь, неизвестно, - начал причитать он, как бывало, раньше в тюрьме. - Должности нет, денег нет, и делать я ничего не умею, ничему не обучен.

Я, как мог, его утешал: мол, ещё молод, всё впереди, не надо отчаиваться, бог милостив - наступят и хорошие дни.

Васыф-эфенди вроде бы забыл о своём горе и принялся благодарить:

- Спасибо тебе на добром слове. Ты благородный человек.

Бедняга по простоте своей душевной не мог понять, что я говорил больше для самого себя.

В дверях появился невысокий рыжебородый старик с двумя детьми. Увидев Васыфа, он радостно вскрикнул:

- Кого я вижу! Освобождён?

Они обнялись на глазах у всех. Пришедший оказался бывшим сослуживцем Васыфа, когда-то они дружили, и этот тоже пострадал из-за начальника канцелярии.

- Поздравляю, дружище, поздравляю!

С этими словами он снова расцеловал его.

- А это мой товарищ по несчастью. Очень хороший парень, - представил ему Васыф меня. - Шесть месяцев вместе маялись.

Старик сел рядом с нами.

- Бей тоже попал в тюрьму из-за драки? - поинтересовался он.

Васыф уже раскаивался, что сказал про меня, и начал мямлить:

- Да. Было дело. В жизни, знаешь, чего только не бывает.

Случилась у него одна неприятность.

Я отвернулся.

Вскоре они поднялись. Бывшие сослуживцы жили по соседству, - им было по пути. А я хотел ещё посидеть. На прощанье Васыф дал свой адрес, а потом крепко меня обнял. Я обещал сообщить о себе по почте, как только устроюсь. Мы расстались.

Я проводил их взглядом. Солнце уже садилось, тени от крепостной стены вытянулись. Шагая вдоль стены, Васыф и его сослуживец о чём-то оживленно говорили. Я почему-то был уверен, что Васыф рассказывал ему именно о моих "неприятностях".

Улица опустела, смолкли голоса. За паромом, выходившим в Мраморное море, тянулся длинный шлейф дыма и медленно таял в сумерках. На противоположном берегу зажглись береговые маяки. Прислушиваясь к мерному, тихому ропоту волн, я отдался своим мыслям.

Наконец моя мечта сбылась: я снова на свободе! Но что мне делать с этой свободой? И родственники, и друзья - люди некогда мне близкие, - все стали теперь чужими. Это я понял в тот день, когда меня пришла навестить тётушка Хатидже. Юридический факультет придётся оставить. Если даже меня не выгонят из университета, разве я смогу показаться на глаза своим бывшим товарищам? Просидеть шесть месяцев в тюрьме за воровство, а потом претендовать на должность блюстителя законов и даже самому судить других, - это просто смешно! Устроиться на работу тоже почти невозможно, - кто станет мне теперь доверять? С таким клеймом человек уже не смеет ни о чём просить! Да, может, Джелаль и был тогда прав? И совсем неизвестно: надо ли было подражать Исмаилу, тому самому парню, о котором я слышал в детстве целую легенду.

Казалось, меня подхватил стремительный поток, завертел и понёс. И мысли, мелькавшие в голове, были уже вовсе не моими, а кем-то подсказанными со стороны. Терзавшие меня сомнения толкали на бунт против самого себя. Я жертвовал собой ради любви, и любовь была не только оправданием моего поступка, но источником моей силы. Да, я пожертвовал собой ради неё! Но если теперь этот поступок начинал мне казаться бессмысленным, и уже хотелось зачеркнуть и вытравить прошлое, то как же я выживу тогда, как выдержу всё?

Нет, любовь озаряет душу тайным светом, и я должен её защитить во что бы то ни стало.

Я зажмурил глаза и заставил себя думать о ней. Я принадлежу только Веди!

На улице уже стало совсем темно. Противоположный берег скрылся из глаз. Сзади слышались чьи-то шаги. Я обернулся: неподалеку прохаживались двое полицейских. От неожиданности я вздрогнул и поспешил подняться со своего стула.

На ком стоит клеймо вора, тот не имеет права шататься в столь поздний час по сомнительным местам.

Глава двадцать девятая

Две ночи я провёл у Джелиля и одну у Махмуд-эфенди. Мой бедный учитель, хромая и волоча больную ногу, обошёл чуть ли не весь город в поисках меня. Жил он, по-прежнему, в своём домике в Сарынозеле. Его жена постоянно болела, и хозяйство вела невестка. После смерти сына старики приютили эту несчастную женщину, и она стала для них родной дочерью. Внуку Мухмуд-эфенди было уже десять лет.

Мы засиделись в тот вечер допоздна. У этих бедных, но честных и порядочных людей мне было удивительно хорошо. Не знаю почему, но в этом доме я чувствовал себя в полной безопасности. Я затерялся в Стамбуле, никто меня не сможет найти, и никому здесь нет дела до моего прошлого и до клейма, что меня украшает.

Махмуд-эфенди то и дело предавался воспоминаниям о счастливых днях моего детства. Я заметил, что, говоря обо мне, он старался подчеркнуть мою воспитанность или восхититься моим покладистым характером - одним словом, как-то польстить мне. Я чувствовал, что он хочет меня подбодрить, убедить, что я остался прежним Иффетом, что не всё ещё потеряно. Он выбирал слова, боясь каким-нибудь неосторожным словом разбередить мою рану.

Как мне хотелось, чтобы Махмуд-эфенди вот так же запросто, словно бы ненароком, рассказал и о моих злоключениях. Может быть, тогда я смог бы взглянуть на события, происшедшие за последнее время, как на давно уже минувшие и забытые.

Пока мы разговаривали, внук Махмуд-эфенди, Сади, придвинувшись поближе к лампе, учил уроки. У мальчика были свои заботы: он никак не мог выучить урок по-французски, плохо понимал текст и боялся, что завтра его обязательно накажут.

- Ну-ка, неси сюда учебник, может, я тебе смогу помочь, - предложил я.

Сади сел рядом и открыл свой учебник. Мы вместе стали переводить маленький рассказик. Он назывался "Кот-воришка". Переводя одно предложение за другим, я вдруг заметил, что мальчик начинает краснеть. Я покосился на Махмуд-эфенди: у того тоже был явно смущённый вид. Как ни в чём не бывало, я всё же перевёл рассказ до конца и даже прочитал содержащуюся в его конце мораль, что красть нехорошо не только человеку, но и кошке.

Наступило гнетущее молчание. Махмуд-эфенди сидел, опустив голову. Даже свет лампы, как мне показалось, вдруг стал тусклым.

Глава тридцатая

Один из вечеров мне пришлось провести у Музаффера.

Около Бахчёкапы я случайно увидел, как он, нагруженный пакетами, выходит из магазина. Я прошёл мимо, сделав вид, что не заметил его. Думаю, что и он сначала тоже решил последовать моему примеру, но потом почему-то передумал и окликнул меня:

- Иффет!

Мне ничего не оставалось, как подойти к нему.

- А я тебя разыскиваю. Куда ты запропастился? Хотел тебя навестить, но не знаю адреса.

- Меня только четыре дня как выпустили.

- Вот и по моим подсчетам так выходило. Я уже начал беспокоиться. И не заходишь, и о себе знать не даёшь. - Я молчал.

- Нет, Иффет, ты просто неисправим!

Пока я сидел в тюрьме, брат приходил ко мне раза три, не больше, и приносил передачи. Теперь ему было совестно, что он не мог меня за эти дни разыскать, и пытался взвалить вину на меня. До отплытия парохода оставалось мало времени, и брат, взяв меня под руку, потащил к пристани. Я не стал сопротивляться и помог ему нести пакеты.

- Жена на тебя очень сердится, Иффет. Если бы ты знал, как она расстроилась, узнав, в какую ты попал беду. Хоть одну ночь, но ты должен у нас переночевать обязательно.

- Приеду как-нибудь. А жене своей скажи спасибо.

- Когда ты приедешь? Едем сейчас же.

Я колебался. Об этом визите я ещё думал в тюрьме. Я чувствовал себя виноватым перед семьёй брата, мне казалось, что и Музаффер, хоть он тут уж совсем ни при чём, будет тоже стыдиться за меня перед людьми. Но если я не поеду к ним, то это может показаться ещё более странным и непонятным. Чтобы избавиться от всех этих мук и сомнений, я решил: чем скорей, тем лучше.

- Хорошо, агабей, поехали сейчас. Я сказал, что в салоне очень жарко, и предложил перейти на палубу: в первом классе можно было встретить кого-либо из знакомых, а мне не хотелось ставить брата в неловкое положение.

Музаффер стал жаловаться на свою жизнь.

- Дела у тестя идут неважно. Жена нервничает, хнычет. Я до сих пор не

могу устроиться на службу. Теперь найти место просто невозможно. Одним словом, я очень и очень стеснён.

Что мой брат в стеснённых обстоятельствах, я уже знал. Но он рассказывал мне это, наверное, чтобы я не вздумал рассчитывать на его помощь и выпутывался сам, как мог. Напрасно старался. Я и не рассчитывал.

Жена брата встретила меня, как ни в чём не бывало. Её отец шутил по-прежнему глупо и фамильярно:

- Ага, попался, негодник! Сейчас мы тебе надерём уши.

Минуту я стоял в замешательстве, потом, справившись с собой, рассмеялся и в тон ему ответил:

- Не слишком ли много будет: из тюрьмы и тотчас же на виселицу? Помилосердствуйте!

Жена брата покраснела.

- Ну и отмочил! Ну и отмочил! - Старик развел руками.

Я был доволен, что мне представился случай сразу всё поставить на свои места, сказать о главном вот так, шутя, как будто и в самом деле ничего не произошло. Это было куда лучше, чем оправдываться и, стыдясь самого себя, говорить какие-то жалкие слова.

Мой племянник Незих заметно вырос. Он бесцеремонно залез ко мне на руки, растрепал мои волосы и снял очки.

- Оставь дядю в покое! - попыталась его урезонить мать.

- Пусть побалуется. Вы же знаете, я люблю детей.

- Надеемся, скоро аллах пошлёт вам своих!

В сердце моём словно отозвалась ещё одна струна. Я вдруг понял, что ещё одна мечта моя никогда не осуществится: у меня никогда не будет детей. Растить их, воспитывать, дарить им свою любовь и радоваться, видя, как рождаются в их душе ответные чувства. И потом мои дети вдруг узнают, что их отец - вор! Я теперь стесняюсь смотреть в глаза родственникам, а потом я буду стыдиться смотреть в глаза своим детям. Нет, нужно навсегда отказаться от мысли иметь семью.

Вот и этот улыбающийся синеглазый карапуз, пройдёт время, вырастет и, возможно, тоже будет стыдиться называть меня своим дядей.

•

Мы ужинали в саду. Не успели выпить кофе, как служанка доложила, что в гости пожаловали соседи. Брат переглянулся с женой.

- Вот досада! То носа не кажут, а стоит собраться семьёй, они тут как

тут!

Я его успокоил:

- Успокойся, пожалуйста, всё это пустяки. Я порядком устал, да и голова разболелась. Так что разрешите, я покину вас, пойду лягу, а завтра поговорим.

Они опять переглянулись.

- Как хочешь, Иффет. - сказал брат. - Ты у себя дома.

Было ясно: оба они довольны, что я не покажусь гостям.

Брат пошёл встречать соседей, а его жена провела меня в комнату. Она не стала звать служанку, сама приготовила мне постель.

- Спокойной ночи, Иффет-бей. До завтра. Она зажгла ночную лампу и прикрыла за собой дверь.

Мне не хотелось спать. Я открыл окно и посмотрел на небо. Прошло, наверное, минут пять. На лестнице, слышались чьи-то торопливые шаги, затем нетерпеливый стук в дверь.

- Войдите!

Это вернулась жена брата. Мне показалось, что она чем-то взволнована.

- Извините меня, Иффет-бей, что я вас беспокою. Тут в шкафу игрушки Незиха. Вы, наверное, завтра поздно проснётесь, а мальчик, как встанет, сразу тянется к игрушкам. У него такие вот причуды.

Женщина открыла шкаф, пожалуй, слишком роскошный, чтобы хранить в нём детские игрушки, и стала что-то быстро собирать, стараясь, чтоб я не увидел, что именно она берёт. В спешке она уронила какой-то предмет, и я незаметно взглянул на пол.

Слава богу, игрушка, которую она с такой поспешностью хотела унести из этой комнаты, оказалась небьющейся: это было жемчужное ожерелье!

Глава тридцать первая

Я нашёл себе дешёвую комнату в районе Джихангира. Иногда я заходил в контору к Джелялю.

- Ничего, что я зачастил к тебе? - словно в шутку спросил я его однажды. - Смотри, как бы частое общение с уголовником тебе не повредило.

- Ты удивишься, Иффет, - с печальной улыбкой возразил Джеляль, - если узнаешь, какие уголовники сюда ходят. Например, человек с золотыми зубами, которого ты встретил здесь прошлый раз, уже трижды судился за подлог. А шикарно одетая дама - она заходила в тот же день - вдруг при таинственных обстоятельствах, будто в кино, оказалась вдовой - её мужа отравили, но полиция виновных не обнаружила. Через шесть месяцев эта самая дамочка преспокойно вышла замуж за своего бывшего зятя. Человек, с которым я разговаривал перед твоим приходом, - честный торговец. Я тоже, надо думать, вполне честный делец. Но это не помешало нам с глазу на глаз обсуждать все способы, какие существуют, чтобы не платить по векселям наследникам кредитора, погибшего в катастрофе. Конечно, после этой сделки, - а дело может быть скандальным, - мне тоже кое-что должно перепасть. Все эти и многие другие посетители - весьма почтенные, уважаемые, вполне солидные люди. Для них суд, скандал и даже тюрьма - мелочи жизни, временные неприятности, из-за которых не стоит расстраиваться.

- Большое спасибо. Ты меня успокоил. В таком случае не будем и мы расстраиваться, - всё в том же шутливом тоне продолжал я. - Горбатуму, говорят, легче утешить своего собрата по несчастью.

- Знаешь, в чём твоя главная беда? - с горечью продолжал Джеляль. - Ты от рождения честный человек, честность у тебя в крови. Иначе ты давно бы уже забыл об этой истории.

- Ты скажешь, Джеляль!

- А ты думаешь, весь Стамбул только одним тобой и занят? Ей-богу, ты меня удивляешь!

Джеляль, засунув руки в карманы, взволнованно заходил по комнате, громко стуча каблуками.

Я взял со стола лист папиросной бумаги и начал протирать стёкла очков, тихонько насвистывая. Потом поднялся.

- Ну ладно, я, пожалуй, пойду. Не буду мешать - у тебя дел много.

Джелаль помолчал.

- Да, дел у меня хватает. Но твоё дело сейчас самое важное. Ты слабый человек. Не можешь сам ничего решить. Садись, поговорим.

- Прежде всего, хочу внести поправку: я вовсе не слабый. У меня достаточно смелости, я ничего не боюсь и готов на всё. Только.

- Хорошо. Продолжай учиться!

- Юристом я уже не смогу быть.

- Стань учителем.

- Подумай сам, разве может учителем быть человек с подмоченной репутацией?

- Тогда найди себе работу в торговой фирме.

- А ты сам, на месте хозяина фирмы, согласился бы взять на работу бывшего вора?

- Так и знал, что ты задашь мне именно этот вопрос. Ещё одно доказательство, что ты слабый человек. Чтобы победить стыд, дорогой Иффет, надо тоже иметь большую силу.

- Золотые слова, Джелаль! Из тебя вышел бы хороший учитель.

Джелаль смерил меня ироническим и даже презрительным взглядом.

- Я понимаю, ты переживаешь кризис. Со временем твоя рана, безусловно, заживёт. Но сейчас, как я думаю, главное для тебя найти работу, пусть даже самую пустую, - лишь бы она вернула тебя к жизни. Об остальном подумаем потом. А теперь будем бегать по городу, не жалея ног, пока тебя не устроим.

Джелаль оказался не только другом, он стал для меня почти отцом.

Глава тридцать вторая

На другой стороне Босфора, в Кысыклы, жила ещё одна сестра моего отца. После тётушки Хатидже я любил её, пожалуй, больше всех остальных своих родственников. Давным-давно, ещё до моего рождения, она пережила кораблекрушение и с тех пор панически боялась всяких переездов по воде. Поэтому она у нас никогда не бывала. Каждый праздник мы с Музаффером отправлялись в Кысыклы, чтобы поздравить тетушку и засвидетельствовать ей своё почтение.

Когда я ночевал у брата, мы, между прочим, вспомнили и тётю Фахрие.

- Да, как бы не забыть, Иффет, - спохватился брат. - Ты обязательно побывай у неё, и как можно скорее. Старушка тяжело больна, ей всё хуже и хуже. Недавно я оказался в тех краях и заглянул к ней. Она всё тебя вспоминала. Вспомнит - и сразу в слёзы. Смотри не забудь её навестить.

Тётя Фахрие была ангельской души женщина, и мы её любили, а вот с её детьми отношения у нас были неважные. Вернее, они недолюбливали нашу семью, считая нас людьми знатными, придворными. Когда была объявлена свобода, я слышал, сын тётушки, Ибрагим, всячески ругал пашу-батюшку. Теперь в этом доме появился ещё и зять. После всего, что со мной приключилось, Ибрагим вряд ли обрадуется моему визиту, во всяком случае, на хороший приём с его стороны рассчитывать не приходилось. Я процедил сквозь зубы: "Ладно, схожу как-нибудь". Но, говоря по правде, никакого желания ехать к тётушке у меня не было. Поняв моё настроение, Музаффер добавил:

- Не откладывай, Иффет. Может случиться, больше её не увидишь.

Эти слова изменили моё решение.

В субботу после полудня я собрался в Кысыклы. Я надеялся, что в такой день и в такое время ни Ибрагима, ни зятя не будет дома. Тётушку Фахрие я нашёл в беседке в саду. Набросив на плечи шаль, она сидела на покосившейся скамейке, грела свои старые кости на ласковом майском солнышке.

Меня она узнала ещё издали и поднялась на ноги, плечи её затряслись, шаль упала на землю.

- Мой Иффет, маленький Иффет пришёл! - радостно вскрикнула она и тут же расплакалась.

Она усадила меня рядом, долго разглядывала, целовала меня в щёки, в

лоб, в глаза.

Тётушка оказалась не так больна, как расписывал мне брат. Она по-прежнему занималась хозяйством, хлопотала по дому и, справившись со своими делами, ещё успевала помочь детям. Но она очень сильно постарела, похудела и сгорбилась, лицо стало совсем маленьким, с кулачок, волосы побелели.

Старики упрямы, как дети: когда я, посидев у неё около двух часов, сказал, что мне пора возвращаться в Стамбул, тётушка возмутилась:

- Хоть на одну ночь останься у нас! А то умру - и ты будешь виноват, - со слезами в голосе настаивала она.

Бедняжка! Если бы она знала, почему я стеснялся остаться, наверное, не стала бы меня так упрашивать. Не желая огорчать дорогую тётушку, я вынужден был скрепя сердце согласиться.

Ночью, когда все в доме уснули, тётушка Фахрие зашла ко мне в комнату. Я хотел было закрыть окно, но она меня удержала, поплотнее закутавшись в шаль, села в кресло. Мы говорили только о прошлом. Я чувствовал, что она хочет ещё что-то сказать, но не знает, с чего начать.

- Иффет, тебе, может быть, известно, что я совсем не богата и у меня ничего больше почти не осталось. Была в Ускюдаре небольшая лавчонка - сгорела, а несколько месяцев назад мы продали и участок. Я получила четыреста лир, триста отдала детям, ну и осталось всего сто. Боюсь, что и эти деньги теперь уплывут. Знаешь, человек не может спокойно умереть, если на похороны у него ничего не осталось. Вот я и думаю, не положить ли эту сотню в банк?

- По-моему, правильно сделаешь, тётушка.

- Так-то оно так, но я сама в Стамбул поехать не могу. Видишь, какая я стала. Кто же положит?

Я промолчал.

- Если я тебя попрошу об этом, Иффет, хорошо?

- А может, лучше поручить это Ибрагим-бею или вашему зятю?

- Можно, конечно, - сказала она после некоторого колебания. - Но, пожалуй, лучше, если они не будут знать об этих деньгах. Как приспичит им, станут клянчить. Ну, а я - отказывать не умею.

Я опять промолчал.

- А потом, знаешь, Иффет, скажу тебе откровенно, я им не доверяю. Более надежного человека, чем ты, у меня нет.

Я почувствовал, как к глазам подступили слёзы. Чтобы их скрыть, я рассмеялся деревянным, неестественным смехом.

- Разве коту доверяют сыр?

- Что за глупости ты говоришь, Иффет?

- А разве ты не слыхала, что я сидел в тюрьме за воровство?

- Знаю, Иффет, всё знаю, но тебя оклеветали, - сказала она и опять расплакалась.

- Вот тётя Хатидже то же самое говорит, но это не клевета. Это жизнь. Случилось несчастье. Ничего не поделаешь.

Тётя Фахрие не могла больше вымолвить ни слова и плакала навзрыд.

Всю эту историю с банком она, конечно, придумала, чтобы утешить меня и подбодрить, вернуть мне утерянную веру в себя и доказать, что не считает меня вором. Из сострадания она готова была пожертвовать этими деньгами, отдать их мне, как милостыню.

И хотя мне совсем не хотелось связываться с тётушкиными деньгами, отказать ей я не смел. Она желала внушить мне, что я остался всё таким же честным человеком. Как мог я разубедить её в том, что доброта эта бесполезна?

Никогда не забуду, как я волновался, пока не положил эти сто лир в банк. Я боялся, что у меня их могут украсть, и всю дорогу, пока ехал на пароходе и шёл по улице, не отнимал руки от бумажника.

Глава тридцать третья

Прошло уже два месяца, как я вышел из тюрьмы. Джеляль, забросив свои дела, бегал вместе со мной по городу, чтобы устроить меня на работу. Времена в Стамбуле были тяжёлые. Люди предприимчивые, с незапятнанной репутацией и те голодали, а о таких, как я, и говорить не приходилось.

Мой друг старался всячески меня подбодрить, но порой тоже впадал в уныние и начинал ворчать:

- Что за проклятые времена! Небо как пламень, земля как камень!

Бедняга сам находился в крайне стеснённых обстоятельствах, дела у него шли совсем неважно.

Джеляль ещё юношей был непримиримым революционером, и конституция триста двадцать четвёртого года^[22] не могла его удовлетворить. Впрочем, он принадлежал к тем людям, которые не могут мириться ни с какими режимами. Ибо надежды их и чаяния идут так далеко, что народам и странам за ними никогда не угнаться. Как и большинство идеалистов, он не мог или не хотел видеть, что плохое неотделимо от хорошего, зло - от добра, - ведь так уж устроен этот мир. Подобные люди никогда не будут преуспевать в жизни.

Мой друг не ждал ни от кого помощи. Он с трудом мог прокормить свою семью, еле-еле сводил концы с концами.

Возвратясь как-то вечером домой, я нашёл письмо от Джеляля. Он сообщал мне, что торговец готовым платьем, по имени Аристиди-эфенди, согласен предоставить мне работу, и я должен завтра же явиться к нему в его магазин на Галате^[23].

"Что это за человек, хорошо не знаю. Только недавно взялся вести его дела. Вчера он заходил ко мне в контору и говорил, что нуждается в толковом, деловом молодом помощнике. Я рекомендовал тебя. Он просил срочно к нему зайти. Может быть, вам удастся договориться".

На следующее утро я отправился по указанному адресу. Меня провели в маленькую, тесную конторку. Грек Аристиди-эфенди оказался худощавым мужчиной невысокого роста, лет пятидесяти. Один ус у него заметно общи́пала оспа; глаза были весёлые, с хитрецей.

Меня он встретил радушно, усадил напротив себя, рассказал, что его фирма ведёт торговые дела в Анатолии и в Европе, что ему нужен трудолюбивый и расторопный служащий, который знал бы турецкий и

французский, что время от времени придётся ездить по делам в Анатолию.

Я признался, что не больно смыслю в торговых делах.

- Не важно, - с добродушной усмешкой успокоил он меня. - Вы ещё молоды - научитесь. Я и то не рискну утверждать, что хорошо разбираюсь в делах, - добавил он и рассмеялся.

Узнав, какое он положит мне жалованье, я согласился, На прощанье Аристиди-эфенди сказал мне:

- Ну что ж, завтра жду вас с рекомендациями.

Я смутился, не зная, что ответить: да, положение моё оказалось затруднительным. Конечно, можно было бы сказать, что у меня нет никаких бумаг, так как до сих пор я нигде ещё не работал. Но как потом вывёртываться? Как я могу скрыть своё прошлое? Рано или поздно оно станет известным. Каждый день жить и дрожать, что тебя выгонят, и ты опять останешься без куска хлеба? После тягостного минутного молчания я решил сказать всю правду.

- Мой товарищ, наверное, вам не всё рассказал обо мне. Известно ли вам, что я шесть месяцев просидел в тюрьме?

Пожилой грек в растерянности вытаращил на меня глаза:

- За что?

- Совершил одну глупость. Взял чужие деньги. Не выдержав пристального взгляда Аристиди-эфенди, я опустил голову. У меня ещё тёплась тайная надежда, что греку понравилась моя откровенность, и он, сжалившись, всё-таки возьмёт меня на работу, - так мне казалось, пока слова признания ещё только вертелись у меня на языке. Но стоило мне их сказать, и я понял, что поступил опрометчиво.

Конечно, Аристиди-эфенди ничего другого не оставалось, как только вежливо мне отказать: "Весьма сожалею, но принять вас к себе не могу". И чтобы опередить его, я сам поспешил выпалить:

- Думаю, теперь вы вряд ли захотите меня взять. Я заранее это предчувствовал.

Пожилой торговец расхохотался. Я с удивлением поднял на него глаза и увидел на его лице совсем не то выражение, которого ожидал. В его глазах светилась чуть ли не нежность.

- Сразу видно, что вы ещё очень молоды. Было дело, - ну и ладно. Словом, приходите завтра, хорошо?

- Значит, вы меня всё же берёте?

Аристиди-эфенди положил руки на мои плечи и тихонько, даже как-то ласково, подталкивая меня, заставил сесть опять в кресло.

- Садись, садись, сынок. Давай поговорим по душам. Ну,

предположим, ты один раз провинился. Так что же нам с тобой теперь делать? В море бросить? Что было, то сплыло. Не один ты грешен. Таких, как ты, много.

Аристиди-эфенди при этом сделал выразительный жест рукой, - мол, "считать не пересчитать".

- Все мы люди. Такими уж нас создал отец господь. Ничего не поделаешь. Как глаза увидят что-нибудь привлекательное, так руки сами и тянутся.

Аристиди-эфенди показал пальцем в окно. На крыше противоположного дома кошка тащила огромную кость.

- Вон, видишь, кошка стащила где-то кость. А что ей прикажете делать? Умирать с голоду? За то, что она украла кость, мы должны её на тот свет отправить? Ни в коем случае! Если удастся догнать, наподдадим как следует, - и хватит с неё.

Не зная, что ответить, я в растерянности смотрел на пожилого торговца. Кто он? Философ, который, понимая слабости и несовершенства рода человеческого, из сострадания к людям готов простить им все грехи? Или же просто циник?

Аристиди-эфенди выпросил у меня все подробности. Его очень удивило, что домашнего учителя могли оставить ночевать; а то, что хозяин хранил деньги в ящике стола, вообще не укладывалось у него в голове.

- Я прячу деньги так, чтобы даже сыновья мои не знали, где они лежат. И отец мой так же делал, - признался он.

Воруют все, если представляется возможность, говорил он убежденно, воруют в частных домах, воруют у государства. Главное - не вводить человека во грех, не дать ему возможности украсть. Поэтому, по зрелому убеждению купца, виноват не тот, кто ворует, а тот, кто позволяет красть.

Скрытый смысл всех его рассуждений я понял очень скоро, когда он стал наставлять меня, объясняя, что за работу предстоит мне выполнять. Моей основной обязанностью было вызволять из таможни различные товары. Для этого мне следовало, прежде всего, установить хорошие отношения с таможенниками. Аристиди-эфенди рассказал мне, как сбывают негодные товары, как уничтожают застрахованные ценные грузы, привозимые по железной дороге или пароходом, как проделывают многие другие мошеннические операции.

- Ты, конечно, ещё молод, - заключил он, переходя на "ты", - но присмотришься как следует, быстро натореешь. Хорошо поработаешь - хорошие комиссионные получишь, в кармане всегда будут денежки.

Свои советы и наставления он выкладывал, несколько не стесняясь, не

допуская даже мысли, что может меня обидеть или оскорбить. Он разговаривал со мной откровенно. А с какой стати ему было церемониться? Таиться от какого-то жалкого воришки, который отсидел шесть месяцев в тюрьме?.

И только тогда я начал вдруг понимать, что для Аристиди-эфенди, который, наверное, рассчитывал встретить честного человека, было приятным сюрпризом увидеть перед собой начинающего жулика.

Возмутиться и оборвать его я не посмел - храбрости у меня не хватало. И от предложения торговца тоже не смог отказаться.

- Хорошо, я зайду к вам завтра, - промямлил я, прежде чем покинуть контору.

Этот, казалось бы, незначительный эпизод так подействовал на меня, что я долго не мог успокоиться. И хотя это была всего лишь моя первая попытка устроиться на работу, после этого случая я вовсе потерял надежду найти честный заработок. Меня окружают воры, мошенники и разбойники, - так думал я. Всё внутри у меня клокотало. Неужели и я, рано или поздно, должен стать таким же?

Глава тридцать четвёртая

Однажды утром, когда я читал у себя в комнате газету, моё внимание привлёк какой-то необычный шум на улице. В соседних домах открывались одно за другим окна, раздавались возбуждённые голоса. Не удержавшись, я выглянул в окно. На углу, у бакалейной лавки, собралась толпа.

Полицейский безуспешно пытался её разогнать. На тротуаре, перед магазином, ночной сторож, жестикулируя, что-то рассказывал окружившим его женщинам.

Высунувшись из окна, я спросил у хозяйки дома, - она мыла парадную лестницу, - что там случилось.

Она посмотрела на меня и ответила:

- В лавке у бакалейщика, говорят, вор побывал. Я почувствовал, как моё сердце вдруг учащённо забилося.

- А вора поймали, мадам? - спросил я.

- Поймаешь его! - ответила она, сделав рукой, неопределённый жест.

Я закрыл окно, взял в руки газету, но читать уже не мог. Ко мне вернулся страх. Червь мнительности уже точил мою душу.

Этой ночью я вернулся поздно. Хозяйка дома об этом знает. А может быть, заметил и кто-нибудь из соседей. Полиция, безусловно, начнёт искать вора в нашем квартале. Проведёт расследование и, узнав, что я вор, вышедший недавно из тюрьмы, конечно, заподозрит меня. Разве не так? Я безуспешно пытался унять мучившее меня беспокойство, - всё было напрасно. Я не находил себе места. Наконец, не выдержав, выбежал из комнаты, хотя и собирался весь день провести дома.

Я пошёл к Джелялю. У него в этот день не было никаких дел. Я долго сидел напротив него, не решаясь заговорить. Мне хотелось рассказать ему обо всех своих тревогах, но было почему-то совестно, - я так и не собрался с духом.

Стояла великолепная погода. Джеляль предложил после работы прогуляться до памятника Свободе. Но я, сославшись на усталость, предпочёл вернуться домой, пока ещё не стемнело. По дороге мне всё казалось, что прохожие смотрят на меня с подозрением.

Моя хозяйка сидела перед дверьми и вязала чулок. Я остановился около неё, сказал несколько ничего не значащих слов о погоде, потом, будто ненароком, спросил:

- Да, мадам, скажите, а что, поймали вора? Пожилая женщина

покачала головой, давая понять, что нет, и продолжала считать петли. Наконец, сосчитав, она удостоила меня взглядом и сказала:

- Вас из участка разыскивали. Недавно полицейский приходил, спрашивал.

Сомневаться больше не приходилось: всё было именно так, как я и предполагал.

- Хорошо, мадам. Сейчас пойду, - покорно ответил я. Шагая по пустынной тёмной улице к полицейскому участку, я чувствовал себя жалким и беспомощным. И хотя я не знал за собой никакой вины, мне было ужасно стыдно даже перед самим собой.

Надежды у меня больше не было. Теперь я навсегда обречён чувствовать своё ничтожество. Всю жизнь мне придётся таскаться по полицейским участкам и судам, кочевать из одной тюрьмы в другую. И каждый меня может подозревать, оскорблять, презирать.

В тот вечер, по дороге в полицейский участок, я сделал удивительное открытие: всего лишь десять месяцев назад я был совсем другим человеком.

Когда меня вели из участка в суд, а потом из суда в тюрьму, я не чувствовал никакого стыда. Теперь мне было просто непонятно, как смог я перенести весь этот позор. Перед этими заведениями я испытывал всё возрастающий страх, который, видимо, прочно укоренился в моей душе.

Когда я вошёл в участок, полицейский комиссар разбирался с каким-то пьяницей, избившим жену.

- Прошу вас, эфенди, присаживайтесь, вам придётся немного подождать, - сказал он мне, показывая на стул.

Разбирательство продолжалось минут двадцать. Полицейский потечески журил пьяницу и его жену, стыдил их, а иной раз пускал в ход и угрозы, наконец, отправил их с миром домой.

Очень довольный собой - служебный долг был выполнен с честью, - он приветливо улыбнулся и, повернувшись ко мне, сказал:

- Какие только скандалы не приходится улаживать. Взрослые люди, а хуже детей.

Услышав, что я пришёл в участок по их вызову, комиссар сделал сосредоточенное лицо, силясь вспомнить, что это было за дело. Потом достал из ящика стола папку и стал перелистывать бумаги.

- Как ваше имя, вы сказали?

- Иффет.

- Иффет? Это же женское имя. Впрочем, да, у нас есть жандармский капитан, его тоже зовут Иффет-эфенди.

Весёлая непринужденность комиссара и его шутливые замечания немного успокоили меня. Наконец он нашёл нужную бумагу и вынул её из папки.

- Вами интересовались в призывном отделе.

Потом он ещё раз окинул меня взглядом и добавил:

- Тут написано: "Доставить с полицией". Надеюсь, вы и сами найдёте дорогу, Иффет-эфенди?

Мне стала вдруг смешна моя трусость: у страха всегда глаза велики!

Глава тридцать пятая

Уже лето подходило к концу, а я всё ещё не мог найти работы. Часами я валялся на постели в своей комнате или в одиночестве бродил по городу, выбирая самые безлюдные места. Жил я в нищете, беднее меня уж, кажется, нельзя было быть. Если бы не мелкие подачки, которые время от времени я получал от тётушки из Карамюрсея или от Музаффера, я, наверное, помер бы с голоду. Конечно, о своём положении я никому не рассказывал. Даже Джелаль не догадывался, что у меня порой за весь день маковой росинки во рту не побывало.

Когда-то отец подарил мне золотые часики, - я очень ими дорожил. Но настал день, и я вынужден был продать их, чтобы заплатить за квартиру. Конечно, я не знал, как это всё делается. Спросить у Джеляля не мог, он воспротивился бы и снова попытался бы всучить мне деньги. Может, даже подумал бы, что я нарочно завёл разговор о часах, чтобы выманить у него деньги.

Я решил сам отправиться на Бедестан^[24]: посмотрю там, как другие продают, и последую их примеру.

На базаре было оченьлюдно. Торговцы и перекупщики с лотками, на которых были разложены кулоны, кольца, браслеты, серебряные цепочки для часов, толклись возле лавок, во всё горло зазывая покупателей. Среди желающих продать свои вещи оказались люди, ещё более жалкие и беспомощные, чем я. Какая-то женщина ходила взад и вперёд с двумя медными подносами и кофтой, не решаясь их кому-либо предложить.

Я долго бродил в толпе, присматриваясь к окружающим, но обратиться к кому-нибудь никак не решался.

Наконец выбор мой пал на одного перекупщика, благообразного старца с окладистой седой бородой, в белой шелковой чалме. Я подошёл к нему и, покраснев до корней волос, будто совершил какой-то позорный поступок, стал рассказывать ему о своём затруднительном положении. Он мельком взглянул на часы, лежавшие на моей ладони, и недовольно проворчал:

- Я сейчас занят, сынок. Попозже, - и двинулся дальше.

У базарного выхода, вокруг разостланного на земле ковра толпились люди. Я тоже остановился и стал наблюдать, как продают с аукциона. Вдруг кто-то легонько коснулся моего плеча, - я обернулся. Рядом стоял человек, которого я где-то раньше видел, но вспомнить обстоятельства

нашей встречи не мог.

- Здорово, Иффет-бей! Что нового?

- Да ничего. Всё в порядке, - неопределённо пробормотал я, не скрывая своего удивления.

- А я вот только две недели как вышел. Иль ты меня уже не помнишь?

Я вспомнил его: мы вместе сидели в тюрьме. Тогда он ходил весь обросший, словно дервиш, а теперь сбрил бороду, закрутил франтоватые усыки. Не мудрено, что я его не узнал. В тюрьме мы разговаривали, кажется, всего лишь раз, но теперь он хлопал меня по плечу, крепко жал руку, говорил со мной, будто мы были закадычными друзьями.

- Что ты там показывал перекупщику? Ну-ка, дай посмотрю!

Я разжал ладонь и показал часы.

- Неплохая вещица. Где стрельнул?

Я ничего не понял и глупо уставился ему в лицо. Он, улыбаясь, повторил вопрос. Крыша Бедестана, казалось, стала медленно опускаться на мою голову; в ушах звенело, руки дрожали. Я с трудом овладел собой.

Покручивая усы, он придвинулся ко мне вплотную.

- Сегодня они, конечно, твои, а вчера-то чьи были? - Он решил, что я оцепенел от страха. - Что это ты, дорогуша, точно воды в рот набрал? Мы же свои люди. Ну-ка, давай пройдемся, есть о чём потолковать.

Мы зашли в тёмный, безлюдный уголок Бедестана. Он достал из кармана колечко и протянул его мне.

- Что скажешь? Вещь! Видишь, брильянт. Вот так поверни! Смотри, как сверкает в темноте. Не меньше тридцати бумажек стоит. А мы если за десять, за пять, даже за две лиры будем сбывать, всё равно хорошо заработаем. У одного человека их около сотни. Нужно только продавать.

Здесь мои векселя не больно котируются. Я дам тебе пяток. Вид у тебя приличный, подозрений ты не вызовешь. Ну как, по рукам?

Я уже пришёл в себя.

- Знаешь, это не по моей части, братишка. Да поможет тебе Аллах! - сказал я и зашагал прочь.

Я быстро пробирался к выходу и, очутившись на улице, чуть ли не бегом пустился под гору. У меня было такое ощущение, будто все нас видели, и стоит мне только обернуться, как меня схватят, потребуют часы, спросят, где я их взял, и сразу потащат в участок. Но тут я вспомнил, что сегодня должен непременно заплатить хозяйке за комнату; стоит мне только вернуться домой, как вечером мадам пожалует ко мне, и будет заходить не один раз, и будет жаловаться, что задолжала бакалейщику, мяснику и так далее и тому подобное. Волей-неволей мне придётся завтра опять идти

сюда. Какой же смысл в таком случае ещё целый день мучиться от страха? Так, чего доброго, ещё привыкнешь бояться всю жизнь?

Господи, до чего же может дойти человек, - даже свои собственные часы боится продать!

Возвращаться на Бедестан я не мог, поэтому зашёл в первый попавшийся ювелирный магазин у входа на базар. Пожилой армянин долго разглядывал мои часы, потом назвал цену. После некоторого колебания я согласился. Прежде чем вручить мне деньги, ювелир внимательно осмотрел меня и мой костюм. Возможно, его насторожило моё колебание, а может быть, и то, что я согласился отдать часы за столь ничтожную сумму. Но, быстро прикинув в уме, что эта сделка, несмотря на риск, сулит ему верный барыш, он открыл ящик и протянул мне пачку банкнот.

Глава тридцать шестая

Однажды я снова заглянул в контору к Джелялю. Мой друг встретил меня радостным возгласом:

- Вот как хорошо, Иффет! А я уже хотел тебя телеграммой вызывать! Нашёл тебе подходящую работу! Газете "Народное право" нужен сотрудник. Физиономия этой газеты мне неизвестна. Вроде бы пока ничем себя не скомпрометировала. Немедленно отправляйся туда. Увидишь главного редактора, Сами Белиг-бей, скажешь, что от меня.

Сами Белиг-бей считался в те времена одним из самых боевых журналистов. Его хлёсткие, злые статьи каждый день появлялись в "Народном праве".

Политикой я больше не интересовался. Однако мои мытарства порядком уже озлобили меня. Яростные нападки "Народного права" на власти мне нравились. И оттого, что статьи эти доставляли кое-кому неприятности и осложнения, особенно разным "счастливчикам", я испытывал чувство злорадного удовлетворения. словно мне самому удалось им за что-то отомстить.

Я тотчас же отправился в газету. Она помещалась в старом полуразрушенном особняке, на вид уже совсем нежилом. Только из одной комнаты доносились возбуждённые голоса. Постояв немного в нерешительности, я толкнул дверь и вошел.

В комнате было четверо. Один из них, плотный мужчина лет пятидесяти пяти, громко поносил правительство. Он сидел без пиджака, рукава крахмальной сорочки были засучены. Каждую фразу он подкреплял ударом, здоровенного кулачища по столу.

Не скрывая недовольства тем, что вынужден прервать свою пламенную речь, он холодно спросил, что мне угодно. Я сказал, что пришёл от адвоката Джеляль-бея и хочу видеть главного редактора.

- Так это вы, Иффет-бей? Очень хорошо, голуба! Подождите меня в соседней комнате. Я сейчас освобожусь, и мы с вами поговорим.

В канцелярии за столом трудился какой-то маленький человек в очках. Он предложил мне сесть у окна:

- Здесь вам не будет скучно: на улицу можно поглядеть, - сказал он и снова углубился в бумаги.

Он работал, не поднимая головы, не отвлекаясь на разговоры, и только время от времени бормотал себе под нос одну и ту же строчку

полюбившейся ему песни:

"Зачем, капризная, свалилась ты на голову мою?"

Иногда он вставал, чтобы взять новую папку, потом снова усаживался на своё место и, непонятно к кому обращаясь, - не то к самому себе, не то ко мне, - ворчал:

- Можно подумать, что у меня, бедняги, завелась капризная подружка.

Проводив гостей, Сами Белиг-бей вошёл в канцелярию и с места в карьер заявил:

- Дорогуша, вас рекомендовал мне Джелаль-бей. Он очень вас хвалил. Можете сразу приступить к работе. Сейчас у нас освободилось место корреспондента. Правда, много платить мы не можем. Что поделаешь? Мы ведь не какие-нибудь потаскухи, живущие на содержании правительства. Впрочем, если хотите, могу вас сделать и ответственным секретарем. На несколько курушей будете получать больше.

- Нет, должность корреспондента меня вполне устраивает.

Сами Белиг-бей рассмеялся:

- Конечно, быть ответственным секретарем газеты "Народное право" дело опасное. Потянут в трибунал, - пиши пропало! Пожалуй, вам эта должность никак не подходит. Сейчас только сообразил.

Я удивлённо поднял глаза на главного.

- У секретаря не должно быть судимости, - бесстрастным тоном объяснил он. - Я в курсе всех ваших злостных преступлений.

Я онемел. После таких слов мне следовало бы, наверное, встать и бежать отсюда без оглядки. Но я не мог сдвинуться с места и продолжал слушать Сами Белиг-бея. Он вдруг сменил тему разговора.

- За каких-то пятьсот курушей человека судят и лишают гражданских прав. Правильно ли это? Да, правильно! Абсолютно и совершенно правильно! Вот ты, ну не болван ли? Вместо того, чтобы, как все порядочные люди, дорваться до власти, стать главой правительства и украсть пятьсот тысяч лир, ты, круглый дурак, соизволил спереть каких-то пятьсот курушей, и ещё требуешь после этого гражданских прав! Да какая разница между воришкой, позарившимся на пятерку, и кошкой, стянувшей кость у мясника? Ни-ка-кой! Мелкая кража бросает тень на человека, унижает его человеческое достоинство. Тебя надо лишать не только гражданских прав, но и всех человеческих прав. Вот так, дорогуша! Наш мир странно устроен! Пусть побеждённый плачет!

Сами Белиг-бей ещё долго разглагольствовал, не скупясь на подобного рода сентенции. Иногда он обращался ко мне, а иногда рассуждал, так сказать, без адреса, импровизируя, словно народный сказитель-меддах.

Потом, ночью, я никак не мог заснуть и всё вспоминал речи главного редактора. Белиг-бей произвёл на меня странное впечатление. Конечно, он - болтун, несдержан на язык, может быть, даже слегка сумасшедший, но, наверное, человек он неплохой. Во всяком случае, обо мне он ничего дурного не думает. Иначе разве он взял бы меня на работу? Ну, а от своего прошлого мне, видно, никогда не избавиться. Куда ни приду, обязательно припомнят. Раз у меня не хватает мужества покончить жизнь самоубийством, значит, ничего другого не остаётся, как смириться и покорно сносить оскорбления.

Со следующего дня я начал работать в газете "Народное право".

Глава тридцать седьмая

Я быстро втянулся в работу и сблизился со своими новыми товарищами. Я изголодался по работе и, чем больше уставал, тем лучше себя чувствовал.

Однажды я признался Джелялю:

- Ты мне оказал такую большую услугу. Спас не только от голода, но и от душевных мук.

- Значит, ты доволен? - спросил он.

- Очень.

- А тебя не слишком утомляет эта работа?

- Знаешь, чем больше я устаю, тем больше получаю удовлетворения.

На работе я забываю о себе.

- Ну, а начальством, товарищами ты доволен?

- Вполне. Сами Белиг-бей, конечно, строгий, придирчивый, но ведь он добрый. В наше время редко встретишь такого честного, порядочного человека. Да и мои новые товарищи, по-моему, совсем неплохие люди. Без сомнения, среди них попадаются всякие, но я их люблю. И они ко мне относятся с уважением. Правда, ни с кем из них я не могу быть до конца искренним. Но ты знаешь, на их дружбу я и не претендую. Понимаю: им я - не компания.

- Ребёнок ты, Иффет.

- Зачем скрывать правду? Я человек запятанный. Поэтому должен всем уступать. Некоторые стараются взвалить на меня свои дела, и я с удовольствием за всё берусь. Ей-Богу, работа для меня сейчас - самое главное. Видишь ли, Джеляль, я горжусь даже самым пустяковым делом. Я работаю наравне с другими, - значит, я тоже человек, одному этому я уже радуюсь. Так постепенно я смою позорное клеймо. И может быть, со временем твоё предсказание, Джеляль, сбудется. Когда-нибудь рана зарубцуется, и я стану таким, как все.

Джеляль почему-то с сокрушенным видом вздохнул, потом сказал убеждённо:

- Можешь в этом не сомневаться. Ещё немного - и от твоей раны не останется и следа. Возможно, она уже теперь зажила, но ты чересчур мнителен, всё принимаешь близко к сердцу. Во всяком случае, Иффет, я рад тебя видеть в добром расположении духа.

- И ещё знаешь, что меня радует, Джеляль? Я чувствовал, как с

каждым днём у меня портился характер, я становился нетерпимым, озлобленным. А теперь, понемногу, я вхожу в колею, и настроение у меня стало лучше. Одним словом, я чувствую себя счастливым.

Джеляль с улыбкой взглянул на меня и, наконец, решившись, спросил:

- Можно тебе задать один вопрос? А как твои сердечные дела? Ты всё ещё продолжаешь её любить?

- Конечно.

- Что-то ты не очень уверенно это произнёс.

- Да, я всё ещё её люблю. Но если бы я сказал, что люблю её как прежде, то покривил бы душой.

- А ты не жалеешь о своей жертве?

- Нет, я должен был принести себя в жертву. И каждый порядочный человек поступил бы на моём месте точно так же. Поэтому ни о каком раскаянии не может быть и речи. Но если раньше я испытывал острое чувство радости от мук, на которые добровольно обрёл себя, то теперь этой радости уже нет.

Однажды Сами Белиг-бей вызвал меня в кабинет. Он явно был чем-то озабочен.

- Иффет-бей, я хотел бы поговорить с вами по одному деликатному вопросу, только дайте мне слово, что всё останется между нами.

Не скрывая удивления, я посмотрел ему в лицо:

- Конечно, эфенди.

- Вы знаете, каких трудов нам стоит выпуск газеты? Я молча слушал его.

- Часто мы не можем даже вовремя выдать вам жалованье. Не так ли?

- Какие могут быть разговоры, эфенди? - ответил я, ещё больше недоумевая.

- Конечно, задержать немного выплату жалованья - это сущие пустяки, ну, а если мы вообще не сможем платить? Впрочем, к чему это "если"? Мы обанкротились! Но я должен, я обязан продолжать борьбу, во что бы то ни стало.

Я, конечно, решил, что Сами Белиг-бей хочет от меня избавиться, и, щадя собственное самолюбие, поспешил ему на помощь:

- В таком случае, бейэфенди, существует простой выход: сократите расходы, ликвидируйте, к примеру, мою должность и распределите мои обязанности среди других.

- Это не выход! - перебил он меня. - Как будто все беды от вас! Нет, сынок, у меня совсем другой план. Газете нужны деньги. Правильно?

Я ничего не ответил.

- Удивляетесь, что за глупый вопрос задаю вам? Сейчас всё станет ясно. Думаю вот заняться шантажом.

Я уже успел привыкнуть к чудачествам Белиг-бей, его странные поступки мне приходилось наблюдать чуть ли не каждый день. Но я по-прежнему был убеждён, что это честный и порядочный человек. Поэтому я решил, что и теперь он шутит, а шутки его всегда были горьки на вкус и диковинны на вид.

- Да, придётся заняться шантажом, - продолжал он. - Конечно, это грязное средство, но нам не остается ничего другого. Мы вынуждены пойти на это. Иной раз для достижения благородных целей приходится прибегать и к таким негодным приёмам. Или закрывай лавочку, или решайся на подобный шаг. Другого выхода нет. Так вот, Иффет-бей, слушай меня внимательно. Есть одна фирма: "Транспортная компания Музаффера Баки". Тебе она известна. Музаффер Баки - жулик из жуликов, пробы ставить негде. Всеми делами у него заправляют несколько дельцов - греки и евреи. Прямо под носом у глупых, безголовых властей эта компания обдeldывает свои грязные махинации. В моих руках кое-какие документы. Я думаю нанести сокрушительный удар сразу и по жуликам и по властям. И потому я решился на шантаж. Другого выхода не вижу, чтобы обеспечить будущее нашей газеты. Вот только как шантажируют - этого я не знаю. К сожалению, в таких делах я новичок. Но кое-что я всё-таки придумал. Посмотрим, что ты скажешь?

Я молча слушал его, не совсем понимая, к чему он клонит.

- Видишь ли, мне самому вести переговоры с фирмой нельзя. Нужен человек, который смог бы повидать Музаффера Баки, изложить ему суть дела, а тот, без сомнения, выложит на стол денежки, в которых мы так нуждаемся. Но как с ним разговаривать, что ему надо говорить, - ума не приложу, - профан я тут.

Белиг-бей вскочил и принялся шагами мерить комнату, стуча каблуками и нервно сжимая и разжимая кулаки. Наконец он остановился против меня и, положив свои здоровенные ручищи мне на плечи, торжественно произнёс:

- Я жду от тебя помощи, сын мой. Сегодня же постарайся встретиться с Музаффером Баки и объяснить ему, что я готов продать имеющиеся у меня документы и оставить его фирму в покое. Но при одном только условии: никаких расписок! С жуликами надо держать ухо востро; от них

можно всякого ждать: на шантаж ответят шантажом, постараются заткнуть нам рот. Понял? Короче говоря, я полностью полагаюсь на твою находчивость. Из всех моих сотрудников ты, по-моему, самый компетентный в таких делах.

Эти слова вывели меня из себя. Я вскочил и выпалил:

- Не могу вас, бейэфенди, не поблагодарить за столь высокое доверие! Вы решили, коль я сидел в тюрьме за воровство, коли встал однажды на бесчестный, позорный путь, то, значит, я - и наиболее подходящая кандидатура, не так ли?

Белиг-бей в замешательстве посмотрел на меня.

- Прости, Иффет! Сам не ведаю, что говорю. Знаю, ты - честный человек, благородный человек. Ты можешь сказать, что честным, порядочным людям не делают подобных предложений, но это уже другая тема. Не обижайся, Иффет! Садись. Понимаешь, сынок, всегда идти только прямой дорогой — очень и очень трудно. До сих пор я никогда не боялся говорить именно то, что думаю. Я не обращал внимания на угрозы, пропускал мимо ушей все заманчивые обещания. Но этим ничего не добился. Прямая дорога завела меня в тупик. Ты меня понимаешь? Чтобы продолжать путь, нужно сначала выйти из тупика. Я вынужден сделать шаг назад, свернуть вправо или влево, но только для того, чтобы снова выйти на прямую дорогу. Можешь возразить мне: дескать, когда человек оступается и падает - это не то, что камень летит на дно колодца. Человек сначала сам себя обманывает, по наивности или неосторожности, а потом благополучно привыкает к подлости. Но это опять-таки другая тема.

Сами Белиг-бей опустил в кресло, сжал виски пальцами, вид у него был самый несчастный. Откровенный разговор поколебал меня. Я посмотрел на этого отчаявшегося человека совсем другими глазами, и мне стало жалко его.

- Ну, ладно, Иффет-бей, - произнёс он после минутного молчания, - не буду отрывать тебя от работы. Прости! Сам понимаешь - попал в переплёт. А как бы ты на моём месте поступил? Впрочем, ты тоже бывал в переделках. Знаю, ты честный парень. И тебе, наверное, действительно некуда было деться, когда ты решился на этот глупый шаг. Ладно, сынок, иди работай.

Я уже был в дверях, когда Сами Белиг-бей меня опять окликнул:

- Помнишь, Иффет, закон падения в физике? Так вот теперь, чёрт возьми, я начинаю понимать, что этот закон действителен не только для физических тел, но и для людей!

Дело, от которого я отказался, Сами Белиг-бей поручил кому-то другому. Но ничего уже не могло спасти газету. Наше положение с каждым днём становилось все хуже и хуже. Платить жалованье рабочим и сотрудникам было нечем.

Вскоре газета "Народное право" закрылась. Сами Белиг-бей получил пост мутасаррифа, начальника округа в далёкой Анатолии, и уехал.

Глава тридцать восьмая

После закрытия "Народного права" некоторые сотрудники остались без работы, а некоторым удалось устроиться в других газетах. Старик переводчик Сезаи-эфенди подыскал для меня место в газете "Телеграф".

Владелец "Телеграфа", Али Рюсухи-бей, был, возможно, на руку и не больно чист, но зато хитёр, как дьявол. Он столь умело обдeldывал свои делишки, что никто не мог заподозрить его в плутовстве. Если бы не Сезаи-эфенди, старый газетный волк и отчаянный сплетник, так я, наверное, ничего бы и не узнал.

- Нам, конечно, на это наплевать, - начинал ворчать старик, когда ему вдруг хотелось по секрету пожаловаться мне на тяготы жизни, - но, к сожалению, в этом мире мало кому удаётся есть честно заработанный хлеб. Каждый устраивается, как может.

Я работал с таким же усердием, как и в газете "Народное право". Меня все любили, и я, в свою очередь, старался, чтоб все были мной довольны.

Прошло два месяца. Между "Телеграфом" и газетой "Народное благополучие" началась перепалка. Каждый день и та и другая публиковали друг против друга разносные статьи. Эта потасовка очень забавляла читателей. Тираж нашей газеты начал расти. Пройдоха Рюсухи-бей сумел нанести своему сопернику удар в самое уязвимое место. Он где-то разнюхал, что владелец "Народного благополучия", в бытность свою председателем суда в каком-то вилайете, брал взятки, и эту тему обыгрывал каждый день со всех сторон, публикуя разные документы и письма.

Похоже было, что мы берём верх. Владелец "Народного благополучия" в бессильной злобе ругал нашего редактора последними словами, обзывал его подлецом, вором, негодяем, но эти выпады били мимо цели, - нанести ответный удар ему не удавалось.

Однажды я пришёл на работу и застал в нашей комнате только Сезаи-эфенди.

- Видал, до какой низости докатились? Вот подлецы! - воскликнул старик.

Я бросил на стол свой портфель и равнодушно спросил:

- А что случилось?

- Ты не читал сегодняшнего номера "Народного благополучия"? - удивился Сезаи-эфенди.

- Нет, я только что из дому.

- Значит, ты ещё ничего не знаешь?

- Нет.

- Лучше бы тебе и не знать, Иффет!

У меня оборвалось сердце.

- Обо мне написали?

- Не только о тебе, Иффет, о всех нас! Но тебе больше всех перепало. Рюсухи-бея они не знают, с какого бока укусить. Так вот решили приняться за нас.

Среди газет, лежавших на столе, я разыскал "Народное благополучие" и, с трудом сдерживая нервную дрожь, развернул её. В глаза бросился крупный заголовок: "Притон для бандитов". Статья начиналась так: "Мы сочли, наконец, своим долгом раскрыть перед читателями истинное лицо бандитского притона, называемого газетой "Телеграф". Грязный пёс Рюсухи, который всю жизнь занимался подлыми делами и таким образом сумел сколотить себе состояние, основал в самом центре города бандитский притон под вывеской "Телеграф". Он сфабриковал и обнародовал фальшивые документы, пытаясь очернить перед публикой честных людей с чистой совестью и незапятнанным прошлым, которые верой и правдой бескорыстно служат обществу. Сегодня мы хотим разоблачить перед общественным мнением тех мерзавцев, которые составляют окружение этого грязного пса, и показать их истинное лицо. Мы предоставляем нашим читателям самим судить о бандитском притоне, который скрывается под зловонной вывеской "Телеграф".

Владелец "Народного благополучия" постарался облить грязью каждого сотрудника нашей газеты. Заключительная часть статьи была посвящена мне. В ней говорилось следующее:

"В этой банде оказался даже профессиональный вор, сидевший в кандалах. Этот тип является отпрыском одного из наиболее ненавистных сатрапов времен тирании. Как говорится в пословице: "Яблоко от яблони недалеко падает". Он начал воровать ещё с раннего возраста, а потом однажды ночью забрался в дом благородного человека, который его облагодетельствовал, и, угрожая оружием детям хозяина дома, очистил сейф. Всё, что мы поведали об этом воре, равно как и о всех других выкормышах из банды грязной свиньи Рюсухи, мы можем доказать сегодня перед земным судом, а завтра - и перед судом Всевышнего".

Удивляюсь, как у меня хватило сил дочитать эти строки до конца и не сойти с ума. Мой вид не на шутку испугал Сезаи-эфенди.

- Иффет, сынок! Что с тобой? Успокойся. Будь мужчиной. Ведь все знают, что собой представляет эта сволочь, - начал он меня успокаивать.

В это время в комнату вошёл наш начальник канцелярии. Он присоединился к старику переводчику и стал меня тоже уговаривать:

- Брось ты расстраиваться, сынок. Да про меня ещё и не такое писали. Понимаешь, у меня есть дом на Бей-оглу, совсем негодный уже - одно название, что дом. Так вот его три года назад я сдал одной женщине с дочерью. А потом выяснилось, что люди эти непорядочные. Я вернул им деньги и выставил за дверь. А они, значит, письмо написали, мол, до газеты я был содержателем публичного дома. Вот как, братец! Ей-богу, я подам на них в суд!

- Нам всем нужно подать на этого подлеца в суд! Его надо как следует проучить! - воскликнул Сезаи-эфенди.

Мне удалось совладать с собой.

- Нет, нет! Кроме самого себя, мне винить некого, - сказал я и вышел из комнаты.

Через несколько минут я был уже в кабинете Рюсухи-бея и заявил, что ухожу из газеты. Главный редактор никак не хотел понять, что именно меня могло так расстроить.

- Это ребячество с вашей стороны. Меня каждый день поливают грязью - и ничего. Ладно, завтра сам напишу о тебе в нашей газете, и всё станет на свои места.

- Умоляю вас, бейэфенди, моё имя ни в коем случае не должно появляться в газете. Большой услуги вы не можете мне оказать. Ведь я не могу утверждать, что это ложь. А если я сам не могу против этого ничего возразить, какой же толк в опровержениях? Надо знать своё место и не лезть туда, где пахнет дракой. Я совершил оплошность, не подумав о последствиях. Винить мне некого! Теперь, даже под страхом голодной смерти, я не переступлю порога редакции газеты.

Рюсухи-бей был весьма опечален столь поспешным моим решением. Я получил жалованье за десять дней, хотя мне следовало только за восемь, собрал свои книги и покинул редакцию, не осмелившись даже попрощаться с товарищами.

Будь я помужественнее да потвёрже духом, наверняка бы наложил на себя руки.

Зима выдалась холодная; топить было нечем. Иной раз перед сном я позволял себе удовольствие съесть кусок хлеба, но чаще ложился спать голодным. Даже при такой "экономии" я с трудом мог протянуть месяц.

Никаких надежд не было. После случившегося я не решался показываться людям на глаза. При встречах со знакомыми на улице я переходил на другую сторону.

Будь Джелиаль в Стамбуле, я знаю, он помог бы мне. По крайней мере, у него я не постеснялся бы попросить помощи. Но вот уже месяц, как он уехал в Конью. Иногда Музаффер давал мне деньги, жалкие гроши, которых хватало только на то, чтобы расплатиться за комнату.

Днём я боялся выходить на улицу. Мне уже мерещилось, что люди показывают на меня пальцем, а если я видел двух разговаривающих прохожих, то обязательно думал, что они говорят обо мне: "Вон тот самый бандит, о котором писало "Народное благополучие".

Нервы мои начали сдавать, я превратился в мнительного, болезненного, раздражительного пессимиста. Раньше во всех бедах я винил только самого себя; теперь же я обвинял и ненавидел всех. Я уже считал, что в мире не осталось честных людей. Я смотрел на толпу прохожих, идущих по улице, и видел перед собой орду разбойников и грабителей. В ужасе я взирал на город - скопище врагов, жаждущих моей крови.

Однажды холодным январским вечером мне стало совсем невмоготу: больше я не в силах был сидеть дома.

На улице темень - хоть глаз выколи. Медленно падает снег. Изредка проносятся автомобили, и на тротуарах, в лучах автомобильных фар, на мгновение возникают, точно призраки, одинокие фигуры прохожих.

Какая-то машина, поворачивая за угол, едва не сшибла меня, обрызгав с ног до головы грязью пополам с мокрым снегом.

При мысли, что смерть только что пролетела рядом со мной, чуть было не задев своим крылом, я на мгновенье оцепенел. Когда я пришёл в себя и огляделся, то увидел, что стою на знакомом перекрестке. Лет пятнадцать назад мы проезжали здесь вот таким же вечером. Муж сестры вёз нас с братом Музаффером в театр на Бейоглу. Мы ехали в карете, которую паша-батюшка получил в подарок от султана, именно на этом месте свернули за угол.

Я всё шёл и шёл по улице, пока она не привела меня на мост Ункапаны. Я облокотился на скрипучие перила и стал смотреть вниз, на воду. Снег падал, не переставая, и море, казалось, утонуло в тумане. Зловеще чернела вода. Будто тусклые лампы гробниц, вдали мерцали огни на мачтах кораблей.

Когда я брёл по улице, спускаясь к мосту, у меня мелькнула мысль: а что, если броситься в море? Но теперь эта мысль о смерти внушала мне только страх, вызывая холодное отвращение.

Сколько я так простоял, сказать трудно. Мимо прошли двое. Один из них окликнул меня:

- Чего стоишь, дружище? Я не ответил.

- Шагай лучше домой, парень, да ложись спать! - посоветовал он. – Ишь, нашёл время мечтать!

Они прошли мимо, и я слышал, как один сказал своему товарищу:

- Видать, выпил лишнего. Или в море свалится, или замёрзнет к утру.

Прохожие скрылись в темноте. Я пустился в обратный путь. За это время я успел основательно продрогнуть. От холода уже зуб на зуб не попадал. Тело ныло тупой болью.

По дороге мне попалось несколько жалких, грязных кабачков. Я решил заглянуть в один из них, выпить рюмку коньяку для бодрости и немного обогреться.

Я открыл дверь, и в лицо пахнуло теплом; запах винных паров зашевелил ноздри. В кабачке было полно посетителей. Стряхнув с одежды снег, я подошёл к стойке и попросил рюмку коньяку.

Из глубины помещения доносился хор пьяных голосов, топот ног и завыванье волынки. По всему телу приятно разлилось тепло. Я выпил ещё рюмку и хотел расплатиться, но хозяин сделал протестующий жест и отказался взять деньги.

- С вас ничего не причитается, - многозначительно улыбаясь, сказал он.

- Это почему же? - удивился я.

- Вас угощают товарищи. - Хозяин указал на стол в углу.

Я обернулся. Какой-то лохматый парень махал мне оттуда рукой. Я узнал армянина Карапета, мы познакомились с ним в тюрьме. Когда я увидел его в первый раз, это был тощий человек - кожа да кости. Мне стало жаль его, и я отдал ему своё старое пальто, поделился едой.

Карапет не забыл моего имени.

- Иффет-бей, окажи честь, выпей с нами! - закричал он мне, потом, обратившись к своим собутыльникам, представил меня: - Парень что надо, свой в доску!

Моё колебание он расценил как нежелание присоединиться к компании.

- Пройдём в другую комнату, - предложил он, - там спокойнее.

Его товарищи стали меня тоже уговаривать. Пришлось согласиться.

Мы пересели в сравнительно тихое место. Официант тотчас принёс несколько бутылок водки, тарелки с закуской.

От водки я отказался.

- Вы, наверное, здорово продрогли? - участливо спросил Карапет. - Сейчас я закажу вам горячего вина, сразу согреетесь.

Одного из приятелей Карапета, грека лет сорока пяти, звали Йорго. Другой оказался мусульманином, родом из Болгарии. Судя по всему, были они людьми без определённых занятий, промышляли грабежом, а может быть, только мелкими кражами. И меня, человека незнакомого, упорно принимали за своего.

Карапет ударился в воспоминания про нашу тюремную жизнь, потом, рассмеявшись, сказал:

- Нет, не стоит поминать её лихом: всё равно, рано или поздно, там окажемся!

Он говорил со мной откровенно, словно мы были закадычными друзьями, подробно рассказывал о житье-бытье. Оказалось, что все они работали: Карапет - подмастерьем у плотника; беженец из Болгарии - на кирпичном заводе, а Йорго торговал рыбой. Но на один заработок, известно, не проживёшь. Вот и приходилось время от времени пополнять свою казну, занимаясь воровством.

От вина и тепла меня вдруг охватила сладкая дремота. Я чувствовал, что оставаться здесь уже неудобно, но встать и уйти у меня не было сил. Я просидел в этом кабачке более двух часов. Когда я вышел на улицу, ветер уже стих, потеплело, на небе появились редкие звёзды.

Шагая домой по опустевшему, словно вымершему городу, я думал: "Закон поставил на мне клеймо, выбросил меня из общества честных людей. Все, кого я любил, отвернулись от меня. И вот сегодня, в воровской компании, где я провёл вечер, я обрёл былую уверенность, ко мне вернулось прежнее спокойствие. Выходит, я уже отпетый преступник? Нет, конечно, я так не думаю. Но факт остаётся фактом: разве не близок тебе тот, перед кем ты не краснеешь, не опускаешь от стыда глаз?"

Глава тридцать девятая

После того как я ушёл из газеты, прошло уже четыре с половиной месяца. Четыре с половиной месяца одиночества и борьбы за жизнь. Ни один человек во всём Стамбуле не знал о моём отчаянном положении.

Это было самое трудное время. Милостыни брата не хватало даже на хлеб. Часто мне приходилось ложиться спать голодным.

Дух мой был сломлен. Я уже не походил на человека. Словно голодный зверь, я жаждал только одного: еды - я хотел есть, чтобы не умереть. Я не переставал искать работу. Я кланчил, умолял, унижался. Брань и оскорбления на меня не действовали.

За эти четыре с половиной месяца я постиг ещё одну горькую истину: все неудачники в надежде заработать деньги и получить место способны переносить любые оскорбления. Глупая, пустая надежда! Смирения и покорности ещё недостаточно для того, чтобы добиться успеха. Нужно уметь гнуть спину и знать, кому лизать пятки. Надо научиться спокойно проглатывать оскорбления. Когда человек отрекается от собственного достоинства, он невольно становится жалким, несчастным, и он похож тогда не на верного раба, а на поверженного врага. Вот поэтому, когда ты обращаешься за помощью, то либо тебя не замечают, либо подозревают в тебе преступника...

К чему скрывать? Порой я думал и совсем иначе: "Меня наказали несправедливо, - на всю жизнь заклеили. Общество меня подозревает. В таком случае я имею законное право на преступление."

Не раз бродил я ночью по тёмным пустынным улицам, и меня душили гнев и возмущение; не раз отправлялся я к мосту Ункапаны в надежде встретить в кабачке Карапета и его приятелей. Но в самую последнюю минуту меня всегда что-то останавливало.

Четыре с половиной месяца нищенской жизни сломили меня, но преступления я так и не совершил. Вернее, не смог совершить. Я оказался слабым для такого дела, - ничего не попишешь.

Спускаясь по улице Диванйолу, я услышал вдруг знакомый голос Джелеля.

- Иффет! - Он кричал мне с площадки проходившего мимо трамвая.

Этот голос был для меня голосом ангела-спасителя. Я застыл как вкопанный. Из глаз покатались слёзы.

Джеляль прыгнул на ходу. Мы обнялись и расцеловались.

- Куда ты запропастился? - воскликнул Джеляль. - Целую неделю тебя разыскиваю. Где только не был! Заходил в пансион на Джихангире. Говорят, съехал, Спрашивал у твоего брата. Тоже ничего не знает. Ну, чего мы стоим? Давай заглянем куда-нибудь, посидим. У меня есть что порассказать.

Мы расположились в ближайшей кофейне. Джеляль говорил, как он обо мне беспокоился, отчитал за то, что я ему не писал.

- Откровенно говоря, я до того дошёл, что мне даже письмо не на что было отправить. Ты уж прости, только у меня такое настроение: думать ни о чём не хотелось.

Я рассказал другу о всех своих мытарствах. Ничего не утаил. Говорил всё, как есть. И как ложился спать голодным, и как бродил по городу в надежде добыть кусок хлеба, и как унижался.

Джеляль слушал меня со слезами на глазах и только повторял:

- Бедный. Несчастный Иффет.

Кончив исповедоваться, я попробовал улыбнуться:

- Видишь, как я переменился. Раньше скрывал от тебя свои беды. Ещё самолюбие было. Теперь и от него ничего не осталось, - как у последнего бродяги: ни стыда, ни совести.

Джеляль понимал моё отчаяние и молчал, не зная, как меня утешить.

- Давай поговорим лучше о твоих делах, - сказал я. - Ну, рассказывай, как живёшь.

Джеляль сразу оживился.

- Ты знаешь, я сменил профессию. Бросил адвокатуру. Ведь у меня большая семья, а я не мог её прокормить. Пристроился в торговле.

Он заглянул мне в глаза, ожидая ответа. На лице его была написана нерешительность, причину которой я пока не мог понять.

- Что же, поздравляю, - сказал я. - Надеюсь, дела идут успешно?

- Да, Иффет, кое-какие успехи есть. И зарабатываю неплохо, только...

Он опять запнулся, даже вдруг покраснел.

- Может быть, ты меня осудишь, - продолжал он, понизив голос, - но другого выхода у меня не было. Жизнь, к сожалению, совсем не такая, какой она нам представлялась из окна школы. Да, я переменял профессию. Идеалы мои рассыпались в прах. Я ведь тоже человек, и у меня есть заветные желанья. Сперва в Конье я по-прежнему занимался адвокатурой; вёл дела одной фирмы, торговавшей табаком и опиумом. Сам знаешь, что

значит торговля в наше время. Волей или неволей, так уж получилось, что и мне пришлось участвовать в делах сомнительных: всякие махинации с документами, с грузами; сделки заключались на вагоны, даже составы. В общем, я крепко завяз, фирма держала меня в руках. Приходилось идти на всё, лишь бы прокормить семью. Ну а другие, благодаря мне, сам понимаешь, состояние себе наживали. Когда человек убеждается, что жизнь его обманула, - значит, он обречён и остановить своё падение не в силах. Короче говоря, Иффет, я уже не мог противостоять соблазну. Потихоньку-полегоньку и сам начал участвовать в торговых сделках; сначала, конечно, по мелочам. Потом мне удалось заполучить вагон. Само собой разумеется, пришлось оказать тоже кое-какие услуги. Но зато вся прибыль пошла в мой карман. Знаешь, попадёт палец в машину - глядишь, и всего затянуло. Скажу тебе откровенно, Иффет, теперь я работаю рука об руку с теми, кто спекулирует на войне. Ты вправе осудить меня. А что мне ещё оставалось делать?

- Может быть, несколько лет назад я бы и осудил тебя, но теперь. Конечно, ты тоже человек.

Джелаль приехал в Стамбул на две недели по своим делам. Он предложил мне работу в их фирме. Не спросив даже, что мне придётся делать, я с признательностью принял его предложение. Больше мы с ним не расставались. Вместе жили в одном из отелей на Бей-оглу, а потом тронулись в путь.

Глава сороковая

Моей основной обязанностью было следить за отправкой грузов в Стамбул. Я стал служащим по снабжению и перевозкам. Жалованье мне положили хорошее. Больше не надо было думать о хлебе насущном.

Мне то и дело приходилось бывать в разъездах по делам фирмы: из Коньи в Стамбул, из Стамбула - в Коню. Мне нравилось путешествовать. В дороге я встречал новых людей. Частенько останавливался на несколько дней в других городах, где меня никто не знал. Я завёл знакомства с хорошими, честными людьми. Я мог говорить с ними обо всём: о честности, о благородстве, гуманности. Ведь никто не знал, что на мне самом стоит клеймо вора.

Война чувствовалась на всех дорогах Анатолии. Поезда и станции были забиты солдатскими семьями, беженцами, ранеными, которых смерть обошла на поле боя и ждала дома. Словом, для желающих творить добрые дела было обширное поле деятельности.

На одной станции я разговорился с ожидавшей поезда пожилой крестьянкой; Больше года она не получала вестей от своего сына, воевавшего на Кавказе, и теперь ехала в Стамбул, надеясь там хоть что-нибудь разузнать о нём. Я сделал для неё всё, что было в моих силах.

В другой раз я познакомился в вагоне с молодым лейтенантом, потерявшим зрение. Он был на грани отчаяния. Мы проговорили несколько часов, я всё старался как-то утешить его.

Сердце моё, оледеневшее от ненависти и злобы к людям, стало понемногу отходить. Я чувствовал, что снова становлюсь самим собой - добрым, мягким, отзывчивым.

В одну из поездок я должен был сделать пересадку в Эскишехире. Вечерело. Я сидел в открытой кофейне неподалеку от вокзала. На противоположной стороне улицы, около фонаря собрались прохожие. Они разговаривали с каким-то человеком, который сидел на мостовой, - я не видел, с кем именно.

- Напрасно стараетесь! - крикнул им старый хозяин кофейни. - Он упрямее ишака. Хоть кол на голове теши. В жизни не встречал такого упрямца.

Заинтересовавшись, я подошёл к людям. На камне, под уличным фонарем, сидел мальчишка лет шести, одетый в жалкие лохмотья.

- Ну, вставай же! - тряс его за плечи мужчина в чалме. - Правду тебе

говорят: твоя мать умерла.

Своими глазами видел. Под поезд попала. Вон на том кладбище её похоронили. А с кладбища уже никто не возвращается. Ну чего ты сидишь? Вставай!

Мальчишка не отвечал. Его тянули за руку, пытались поднять, - тогда он начинал реветь.

- У него в самом деле мать умерла? - спросил я.

- Да нет, это я ему говорю, чтобы он тут не сидел. Слова незнакомца поразили меня. Я слышал, как успокаивали сирот и говорили им, будто их мать отправилась молиться в Мекку. Такую ложь, сказанную из сострадания, я ещё мог понять. Но чтобы нашлись бессердечные люди, которые при живой матери говорили ребенку: "Твоя мать попала под поезд, мы её похоронили. Не жди её понапрасну!" - такое понять я уже был не в состоянии.

- Зачем же вы так говорите, эфенди? - не выдержал я.

- А что поделаешь? Другого не придумаешь. Каждый вечер сидит мальчишка вот тут на камне, - глядя на него, сердце разрывается. Видно, паренёк из беженцев. Недели две назад мать тут его оставила, сказала, наверное: "Жди меня здесь! Я приду, заберу тебя", - и сама сбежала. Вот он и ждёт. Есть же такие бессердечные матери. Впрочем, всякое бывает. Может, её и винить грешно. А мальчонка остался теперь один-одинёшенек. Днём по улицам бродит, побирается. Ночью спит в сарае. Запомнил, что ему сказала мать: "Жди меня здесь. Я приду, заберу тебя", - вот и приходит каждый вечер сюда, сидит на камне до самой ночи: мать ожидает. Чтобы он не тешил себя пустой надеждой, я ему говорю, что её поездом зарезало. Только он и слушать не желает.

- А куда же полиция смотрит?

- У полиции своих забот по горло.

- Разве здесь нет сиротского приюта?

При тусклом свете фонаря я заметил, как человек в чалме горько усмехнулся.

- Ваша милость, наверное, в наших краях впервые, - сказал он.

Они собрались уже уходить, я задерживал их.

- Мне, очень жаль мальчишку. Неужели нельзя ничем ему помочь? - спросил я опять.

- Коли желаете, дайте ему несколько куругаей.

- Нет, я хотел бы ему помочь по-настоящему.

- Ну, если у вас много места в доме, возьмите его к себе. А то попытайтесь устроить его в приют в Стамбуле или ещё где-нибудь. У

вашей милости, видно, добрая душа. Если это в ваших силах, помогите мальчишке. Аллах вас за это вознаградит.

Все разошлись, и я присел около мальчишки. Из-под свалявшихся чёрных как смоль волос глядело истощённое от голода, но очень симпатичное детское личико. Сперва ребёнок меня дичился, на мои вопросы не отвечал. Я ласково говорил с ним, утешал его и уговаривал, и он понемногу стал слушать меня. Он согласился пойти со мной в полицейский участок. Для пущей важности я предъявил комиссару свои служебные документы.

- Еду завтрашним поездом в Стамбул. Вот хочу определить этого беспризорного мальчика в детский приют, а если не получится, то отдам его в школу за свой счёт. Прошу выдать мне на то ваше разрешение.

Похоже, комиссар был добрым человеком.

- Вы поступаете, беим, очень благородно. Никакого разрешения вам не требуется. У них ведь никаких документов не бывает. Скотине и той хоть счёт ведут, а таких, как он, у нас никто не считает. Это - дети аллаха, - его милостью только и живы. На всякий случай я вам, пожалуй, выдам бумагу; чтоб в дороге не было неприятностей.

Разъезжая по делам фирмы, я завязал нужные знакомства с влиятельными чиновниками в Стамбуле. Вот с их-то помощью я и рассчитывал устроить Сабри в приют. Только они ничего не смогли сделать, а может быть, просто не захотели. И мне пришлось определить мальчика в частную школу-интернат.

Директор школы, оформляя бумаги, спросил моё имя. Назвать своё настоящее имя у меня не хватило смелости: а вдруг он запомнил его из газет, и ему покажется подозрительным, что вор и бандит решил заняться благотворительностью.

- Опекун мальчика Джеяль Зия-бей в Копье, - сказал я. - Я вношу за мальчика деньги от его имени.

Глава сорок первая

Я ехал из Измира в Стамбул. Стоял уже декабрь, погода была холодная, небо обложено тучами. В долине Менемен нас встретил порывистый ветер, начался снегопад.

- Не нравится мне эта погода, - сказал мой попутчик, пожилой майор. - Можем попасть в буран, застрянем, не дай бог!

В поезде ехали главным образом военные, больные и раненые, которым врачи предписывали перемену климата, демобилизованные из армии инвалиды да бесчисленные бедняки-беженцы со своими семьями. После Манисы ветер усилился. Поднялась метель, да такая, что света божьего не видно! Дорогу всё больше и больше заметало снегом.

До наступления ночи надо было приехать в Ушак и там переночевать. Только бы туда поспеть до темноты. Но локомотив еле тащился; его топили дровами - и он застревал чуть ли не на каждом повороте.

Когда до станции было уже не более двух часов езды, дорогу совсем занесло, и поезд остановился.

Казалось, пришёл конец света. До вечера ещё далеко, а темень такая - хоть глаз выколи! Дети орут, женщины плачут, мужчины, собравшись у вагонов, спорят и ругаются. Одни считают, что всё равно придётся провести ночь здесь и поэтому надо подумать о ночлеге: раздобыть дров, развести огонь. Другие предлагают, не теряя времени, отправиться в ближайшую деревню, до которой, говорят, полчаса хода.

Мой попутчик, майор, предложил третий вариант:

- Давайте всех больных и женщин поместим в один вагон. Может, локомотив дотянет его до Ушака.

Но железнодорожники заявили, что и это невозможно.

За себя я боялся меньше всего: закутаюсь поплотнее в пальто, как-нибудь и дотерплю до утра, а каково придётся больным и женщинам?

Я брёл вдоль состава, застревая в снегу, и думал об этом. И тут я вдруг увидел девушку в чёрном платке-чаршафе. Она одиноко стояла у самого последнего вагона. На смертельно бледном лице её было написано смятение. Она хотела что-то спросить, но, видно, не решалась. Наконец она несмело приблизилась ко мне и произнесла дрожащим голосом:

- Извините, бейэфенди!

- К вашим услугам!

- В вагоне лежит больная мама. Ей очень плохо. Если её оставить здесь

на ночь, она обязательно умрёт. Что делать, ума не приложу. Посоветуйте, ради Бога, что-нибудь.

У девушки было милое моему сердцу стамбульское произношение. Что я мог ей ответить? Легче всего, конечно, было сказать: "Сами видите, в каком мы положении. Что я могу вам посоветовать?"

По её виду, по её голосу я понял, что она в отчаянии. И, не найдя иного выхода, она обратилась ко мне, как будто это была её последняя надежда.

- Ваша матушка заболела сейчас, в поезде?

- Нет. Но в последнее время ей было лучше. И когда погода вроде бы установилась, мы тронулись в путь. А тут на нашу голову такая беда. Девушка не выдержала и заплакала.

- Вы едете из Измира?

- Да, из Измира. Теперь вот должны возвращаться в Стамбул.

Мы вошли в вагон. Больная мать этой девушки, женщина средних лет, лежала укутанная толстым одеялом.

- Мама. Мамочка, - тихо позвала её девушка. Женщина с трудом подняла веки, посмотрела на дочь, хотела что-то сказать, но тут же опять впала в забытие.

- Не волнуйтесь, барышня, я сделаю всё возможное, чтобы вам помочь. Ждите меня здесь.

Я выбежал из вагона и кинулся разыскивать своего Ибрагима. В нашей фирме Ибрагим служил разъездным агентом. Он был родом из Айдына, - хороший такой парень из крестьянской семьи. Год назад он потерял руку под Чанаккале^[25]. Сильный, смелый, очень энергичный, Ибрагим оказался у нас самым незаменимым работником. Будучи человеком негордым, я относился к нему всегда по-товарищески, особенно во время наших совместных поездок. И потому, наверное, он во мне души не чаял.

Я ему рассказал обо всём, - мол, так и так, надо во что бы то ни стало помочь больной женщине.

- Сделаем, бейэфенди! - без колебания ответил Ибрагим. - Запросто! Уж если Ибрагим говорит "запросто", то, значит, он найдёт выход из самого что ни на есть безвыходного положения.

- Деревня неподалёку, - сказал Ибрагим. - Полчаса - и мы там. Видите, народ уже пошёл. В деревне мы найдём, куда поместить нашу больную. Заодно и себе ночлег подыщем.

- Хорошо, но как её туда доставить?

- Запросто, беим! За десять курушей найдём себе помощника, возьмём пару палок, сделаем носилки, положим больную и понесём.

- Ради Бога, Ибрагим, сколько бы это ни стоило, я заплачу.

- Только прошу тебя, не вмешивайся, ради аллаха, когда я буду торговаться. Что, тебе денег некуда девать? Я тотчас.

Ибрагим стремглав бросился к головному вагону и исчез в толпе.

С Ибрагимом мы ссорились только по одному поводу: он всегда разводил экономию и любое дело старался обстряпать, чтобы было подешевле. Наивный парень! Он полагал, что переплаченные десять курушей могут отразиться на благосостоянии хозяев фирмы, ворочавших десятками и сотнями тысяч лир. Когда же я, чтобы ускорить дело, не торгуясь, выкладывал требуемую сумму денег, он вечно совал свой нос и начинал отчаянно торговаться - с грузчиками, с чиновниками, с таможенниками. Если я отмахивался от него, он с нескрываемой досадой говорил:

- Тебе что, беим, денег некуда девать?

Вскоре Ибрагим вернулся с каким-то бедно одетым человеком. Они быстро сделали носилки и на них положили больную, плотно закутали её в одеяло, а сверху ещё накрыли куртками. Ибрагим даже снял с себя непромокаемый плащ.

- Смотри, простудишься, - предостерег я Ибрагима.

- Ничего, нести всё-таки далеко. Вспотею, ещё хуже будет. Одной-то рукой трудно будет.

Наконец наш маленький отряд тронулся в путь. Я взял свой чемодан, в руках у девушки был лишь небольшой саквояж.

Идти против ветра было нелегко. Время от времени она останавливалась, чтобы перевести дыхание. Её чаршаф побелел от инея.

- Вам тяжело, дайте мне ваш саквояж, - предложил я.

Она с благодарностью посмотрела на меня.

- Ни в коем случае, эфенди. Да будь у меня немножко больше сил, я сама бы понесла ваши вещи. Я так вам признательна.

- Право же, это все пустяки. Долг каждого человека.

До самой деревни мы не обменялись больше ни словом, даже не познакомились.

По дороге Ибрагим со своим напарником всего два раза останавливались, опускали на землю носилки, чтобы передохнуть.

- Ты очень устал, Ибрагим. Дай я немного понесу.

- Лучше себя донеси, беим! - отшучивался Ибрагим, потом серьёзным тоном добавлял: - Я совсем не устал, просто неудобно мне, ведь одной рукой приходится тащить. Вон моему товарищу - хоть бы что!

Бедняга Ибрагим завидовал, что у его товарища обе руки.

Навстречу нам попало несколько деревенских парней, они шли

поглазеть на застрявший поезд. Ибрагим узнал у них всё, что нам было нужно. Мы добрались до деревни, через четверть часа уже устроили больную, а потом нашли ночлег для себя. Женщины остановились в небольшом домике у одинокой старухи, солдатской матери.

- Да ежели больной нельзя будет ехать, живите здесь сколько душе угодно, - успокоил староста. - Заплатите старухе - и дело с концом. Она же вас век благодарить будет.

Пожилая крестьянка принесла охапку хвороста, развела огонь, расстелила для больной чистый ватный тюфячок.

Девушка достала из саквояжа лекарство.

- Мама у нас частенько болеет, потому без лекарства мы-никуда не ездим, - объяснила она.

Я спросил, чем больна её матушка.

- Давно уже болеет, очень она слабая и нервная. А смерть моего брата совсем её подкосила.

Больная отогрелась около огня и стала понемногу приходить в себя. Она открыла глаза, удивлённо посмотрела вокруг и даже сказала несколько слов. Девушка налила в глиняную кружку из чайника кипятку, заварила липовый цвет и стала поить её, как маленькую.

- Как ты себя чувствуешь, мамочка? - спрашивала она, глядя ей руки. - Если бы не этот господин, мы бы, наверное, погибли. У тебя ничего не болит?

- Надеюсь, ночь пройдёт спокойно, - сказал я, вставая и раскланиваясь.

- Если что вам потребуется, не стесняйтесь, дайте нам знать. Утром я вас навещу. Девушка проводила меня до дверей.

- Не знаю, как вас и благодарить, бейэфенди. Не нахожу просто слов.

Глава сорок вторая

Ветхая крестьянская лачуга, в которой мы нашли приют и ночлег, всю ночь сотрясалась от ветра. Скрипели доски, с печки сыпалась глина, в трубе жалобно завывал ветер. Всю ночь я не сомкнул глаз. Утром спросил у Ибрагима, что нам делать дальше.

- Ничего, - ответил он. - Сейчас растопим печь, и можешь сидеть да греться. Дороги замело. Даже мост за деревней, говорят, рухнул. По деревне и то не пройдёшь. Дай бог, дней пять тут просидим.

- Хоть бы добраться до Ушака.

- А чего беспокоиться, беим! В дороге разное случается. Надо благодарить всевышнего, что хоть здесь устроились. Другим и того хуже. Немного погодя схожу к поезду, посмотрю, как там наши попутчики.

- А как чувствует себя больная?

- Только что у них был. Вроде бы всё в порядке. Раздобыл им кое-что поесть. Хозяйка-старуха готовит завтрак. Пусть тебе спасибо скажут.

Ибрагим - мастер на все руки, хоть и был сам без одной руки, - быстро приготовил отменную похлёбку, и мы поели. Я оделся и вышел навестить больную.

Сначала я решил заглянуть на минутку, чтобы только поздороваться, и сразу же вернуться домой. Но девушка, увидев меня, очень обрадовалась, сказала, что её мать хочет со мной побеседовать. Почти целый час мы просидели около печки, в которой весело горел огонь. В комнате было тепло и пахло сосновыми дровами.

Больная оказалась нервной, избалованной стамбульской дамой, лет сорока пяти. К утру ей стало лучше, но она всё ещё была очень слаба, то и дело закрывала глаза, словно впадая в беспамятство. Она была замужем за отставным полковником, и жили они в Бейлербее^[26]. Месяц назад вместе с дочерью поехала в Измир навестить тяжело раненного сына. Он был артиллерийским лейтенантом. В бою под Чешме^[27] его ранило в грудь. Отправили в Измир, в госпиталь. Сделали две операции, но спасти не удалось.

Вспомнив о сыне, больная расплакалась.

- Ах, бейэфенди, если бы вы только знали, каким прекрасным мальчиком был наш Хикмет. Чистосердечный ангел. Без него мне жизнь не мила. Она, наверное, долго говорила бы о любви к сыну, если бы не девушка, которая сидела рядом, задумчиво устремив взгляд в огонь. Она

вдруг востепенулась и, умоляюще глядя на мать, сказала:

- Ради Бога, мамочка, тебе нельзя волноваться. Больная замолчала и опять закрыла глаза. На её ресницах блеснули слёзы.

Я поспешил завести разговор о погоде, и девушка - её звали Рана - спросила меня:

- Когда же мы сможем отсюда выбраться?

- Если верить Ибрагиму, снег нас продержит в плену дня три-четыре. К поезду нельзя пройти. Путь закрыт.

Мой ответ очень расстроил Рану, и я поспешил её успокоить:

- Ну стоит ли волноваться? Нам повезло. Мы попали в гостеприимную деревушку, к хорошим людям. Дня через три или четыре путь откроется, а за это время ханым-эфенди окрепнет. После вчерашних волнений ей нужен покой, и я думаю, трогаться в путь не следует, даже если поезд и пойдёт. Коли вам что-нибудь понадобится, только скажите: я всегда к вашим услугам.

Тут они вдруг переглянулись, и я сразу испугался, что моё желание помочь им может быть неправильно истолковано.

- У меня ведь тоже отец был военным. Наш долг - помогать друг другу, - словно оправдываясь, добавил я.

Судя по их виду и разговору, нетрудно было догадаться, что они принадлежат к вполне благопорядочному кругу - из стамбульской семьи среднего достатка. Ране было, очевидно, лет двадцать, а может, даже двадцать два. Но она казалась такой хрупкой и тоненькой, а глаза её были такими чистыми и голубыми, что, право, её вполне можно было принять за ребёнка.

Пока мы разговаривали, вернулся Ибрагим. В поезде, кроме сторожей, никого не осталось. Многие пассажиры отправились в Ушак на лошадях, остальные нашли приют в нашей деревне.

Глава сорок третья

Мы прожили в маленькой, глухой деревушке одиннадцать дней. Можно было подумать, что она отрезана от всего мира, точно необитаемый остров, затерянный в безбрежном океане. Пожалуй, ни одной весной я не чувствовал такого прилива сил, бодрости, как после этой снежной бури. Я больше не был похож на того Иффета, которого отметили несмываемым клеймом позора. Здесь, в этой деревне, все относились ко мне с уважением, и когда я говорил о боге, о честности и искренности, надо мной никто не подсмеивался.

Для Раны и её матери я был ангелом-хранителем. Первое время я старался, насколько это было возможным, держаться от них на расстоянии. Но потом, когда они прониклись ко мне таким доверием и уважением, сам привязался к ним.

Да и они ко мне очень привыкли, словно я принадлежал к их семье.

Однажды утром, как обычно, я пришёл их навестить. Взглянув на Рану, я снова понял, что она чем-то расстроена: опять очень бледна, а глаза красны от слёз.

Больная дремала. Девушка поправила платок на голове матери, прикрыв её растрепавшиеся волосы. Потом предложила мне сесть около печки.

- Всю ночь до утра мама глаз не сомкнула, - пожаловалась Рана. - Я перепугалась до смерти; плакать не хочу, а плачу, - ничего не могу с собой поделать. Я, как обычно, начал её утешать:

- Аллах милостив. Всё обойдется. Ничего опасного нет, если у неё иногда случается бессонница. Ваша матушка слишком изнервничалась. Вы же сами говорили, что у неё часто бывают нервные припадки.

- Это верно, - ответила Рана, по-прежнему не отводя глаз от матери. - Но что я могу с собой поделать? Всю ночь выли волки, и мне стало вдруг так жутко.

- Вы совсем как дитя малое, - рассмеялся я. - Волков испугались?

Рана застенчиво улыбнулась.

- Не то чтоб испугалась. Знаете, вдруг подумала: не дай бог, маме станет плохо и придётся оставить её здесь одну. Ведь мы отрезаны от всего

мира. Ни врача, ни лекарств, ничего не найдёшь.

- Ну стоит ли понапрасну так волноваться, - сказал я как можно спокойнее. - Уж если, не приведи господь, в самом деле что случится, я найму лошадей и съезжу в Ушак. Могу и сейчас это сделать, чтобы вас успокоить. Хотите, мы с Ибрагимом сегодня же поедem в город?

В её глазах вспыхнула радость.

- Спасибо. Сейчас в этом нет надобности. И вообще, надеюсь, не потребуется. Вы вселяете в меня уверенность, поддерживаете меня. Не знаю, как я смогу отблагодарить вас за вашу доброту.

- Если вам уж так хочется меня отблагодарить, то первым делом успокойтесь и дайте мне слово, что не будете больше плакать.

- Я, эфенди, уже дала себе слово больше не плакать. Постараюсь быть сильной и стойкой до тех пор, пока не доставлю маму живой и здоровой в Стамбул. Ах, только бы добраться до Стамбула! Сдам маму на руки отцу и тётушке, закроюсь в своей комнате и уж тогда наплачусь вволю, хоть целую неделю.

Девушка сидела перед печкой, положив руки на колени, крепко сцепив пальцы, и сосредоточенно смотрела на огонь. На ресницах её блестели непрошенные слёзы.

Она замолчала, потом вдруг обернулась и посмотрела на меня. Я понял, что ей хочется открыть передо мной душу.

Рана прислушалась к ровному дыханию матери и, убедившись, что она спит, начала свой рассказ:

- Как я любила нашего Хикмета, больше, чем маму. Самый младший братец умер от кори, и с тех пор мама потеряла покой. Она безумно любила нас и вечно дрожала над нами. Она ни за что не хотела, чтобы Хикмет стал военным. Но отец думал иначе: "Для сына солдата не может быть другой профессии, кроме военной службы". - И Хикмет согласился с ним. До войны он служил артиллерийским офицером в Анадолукаваке^[28], а когда началась война, получил назначение в полевую батарею в районе Чешме. Мама лишилась сна. Ни отец, ни я, мы не могли её успокоить. Я тоже очень боялась за брата, не меньше мамы, но она просто заболела с тех пор. Прошло около года. Потом от брата перестали приходить письма. Мама плакала все ночи напролёт, а потом сказала: "Пойду в военное министерство и узнаю, что случилось с моим сыном". Отец стал её отговаривать. Ещё три дня мы удерживали её. На четвёртый я заявила отцу: "Я тоже беспокоюсь. Может быть, в самом деле надо сходить и спросить. В этом нет ничего зазорного". Папа как-то странно посмотрел на меня и отвел глаза. "Рана, - сказал он, - ведь я получил от Хикмета письмо, но..."

Я вскрикнула, не дав ему договорить, - отец вовремя успел закрыть мне рот рукой.

"Не пугайся! Ничего страшного. Иначе разве бы он смог написать письмо? В последнем бою его легко ранило, и теперь он лежит в госпитале, в Измире. Ничего серьёзного, даже сам письмо написал." Я не верила отцу и продолжала плакать. Отец достал два конверта и протянул их мне. В первом письме из госпиталя Хикмет писал, что его ранение несерьёзно, а во втором - что врачи считают необходимым сделать небольшую операцию. "Матери и Ране ничего не говори, - сделал он приписку. - Пусть понапрасну не волнуются."

Отец хотел, чтобы я ничего не говорила маме о ранении Хикмета, но я стала возражать ему: "Как можно, отец? Ведь мы не знаем никаких подробностей. Мама должна знать правду. А вдруг, не дай бог, с ним что-нибудь случится, - она нам этого никогда не простит".

Мы очень осторожно ей рассказали про письма.

"Я с ума сойду, если его не увижу. Сейчас же надо ехать в Измир!" - стала говорить мама, и волей-неволей отцу пришлось согласиться. У него недавно был такой острый приступ ревматизма, что с нами поехать он не мог. Поэтому мы с мамой отправились в Измир в сопровождении знакомого офицера.

Как хорошо, что мы поехали! Рана брата оказалась серьёзной - в грудь. Сделали две операции, но лучше ему не стало. Мы нашли Хикмета в тяжёлом состоянии. Он с трудом узнавал нас. Два дня и две ночи мы не отходили от его постели. Господь бог вооружил нас терпением; мы даже не плакали, боясь, что нас прогонят из палаты. Утром третьего дня нас всё же попросили уйти, сказали, что Хикмету будут делать третью операцию. Больше мы его не видели.

Мы жили в доме одного офицера, нас чуть ли не силой поместили туда. Как было тяжело после смерти брата, а тут ещё мама слегла, и надо было ухаживать за ней. Вы сами видите, какая она. Совсем слабенькая - еле душа в теле держится. Целую неделю она лежала в постели, не проронив ни слова. Потом стала понемногу приходить в себя, и мы поторопились вернуться в Стамбул. И тут новая беда свалилась на нашу голову. Не будь вас, не знаю, что бы с нами стало.

Пока девушка рассказывала мне свою историю, она несколько раз принималась плакать, когда не в силах была совладеть с собой. А теперь в её голубых глазах, смотревших на меня с такой благодарностью, дрожали весёлые огоньки - отблеск догорающих в печке углей. Как прекрасен был её нежный взгляд! Все эти годы мне не хватало именно такой чистой,

беззаветной любви. С малых лет я мечтал о ней, грезил ею.

Впрочем, что-то я чересчур замечтался. Девушка ни о чём другом не думала, как только о здоровье и благополучии матери.

Когда мы поднялись, она тяжело вздохнула и пожаловалась мне:

- Нет, видно, мне не суждено уже заглушить эту боль. С каждым днём тоска по брату будет сильнее и сильнее. А ведь и папа уже стар, и мама больна. Скоро у меня и их не станет. Как скверно устроен этот мир! Если человек теряет одного за другим всех, кого он любит, разве стоит после этого жить?

Впервые эта простодушная, наивная девочка почувствовала глубину своего горя и решила, что она не сможет забыть своего брата и до конца жизни будет его оплакивать. Бедняжка не понимала, что эта рана, как и всякая другая, когда-нибудь да заживет.

Всеми силами старался я рассеять мрачные думы, которые мучили несчастное дитя. Чего я только не делал, чтобы хоть немного развеселить её: и пытался быть всегда весёлым, и говорил столь убеждённо, что порою сам начинал верить в собственные слова.

Вскоре мы с ней подружились. Я испытывал к Ране братскую нежность и привязанность. Как только матушке её полегчало, мы стали гулять в садике, около дома.

Больной с каждым днём становилось лучше. Да и погода, наконец, прояснилась. И однажды, ранним утром, мы покинули деревню и на быках добрались до станции.

В Стамбуле я проводил обеих женщин до самого их дома. Они упростили меня остаться у них ночевать. Отец Раны оказался бравым воякой, с доброй, широкой душой. Он встретил меня точно родного.

Но вот настал час прощанья, и тогда я понял, как привязался к этой семье, вернее будет сказать, к Ране. Утром мы долго с ней говорили. Было заметно, что девушка огорчена предстоящей разлукой. Она просила меня как можно чаще бывать у них в гостях. Но больше всех слов мне сказали слёзы, которые блестели в её глазах. Нет, это были не обычные чувства расположения или общности интересов, которые возникают между путниками или даже приятелями. Ещё несколько дней назад в моей душе родилась надежда, теперь это была уже уверенность: Рана была ко мне равнодушна, быть может, даже сама не отдавая себе в этом отчёта.

Ну, а обо мне и говорить было ничего. Еще в деревне, когда я слушал

её рассказ о семейных горестях и смотрел в её голубые глаза, в которых дрожали отблески пламени, что плясали в печи, - ещё тогда я понял: я полюбил эту девушку.

Несмотря на все старания, мне не удалось сохранить свою любовь к Ведии. Лишения и душевные муки, которые пришлось мне испытать за эти годы, заставили забыть её - в памяти стёрлись некогда дорогие черты моей возлюбленной.

Ещё когда мы были в той далёкой деревне, у меня появилась смутная надежда, - быть может, мне удастся завоевать сердце этой нежной, хрупкой девушки. Я готов был посвятить ей свою жизнь. Теперь я был в состоянии обеспечить семью и жениться на девушке из благородной семьи. Только всё это были пустые, несбыточные мечты. Они развеялись, едва я очутился опять в Стамбуле. Как же мог я забыть, что здесь, в Стамбуле, я всего лишь жалкий человек, на котором стоит клеймо вора?

Да я не имел права не только мечтать о такой девушке, как Рана, но даже думать о ней, а уж тем более встречаться - это было бы просто нечестно по отношению к ней. Ведь она всегда может случайно узнать, кто я такой. Нетрудно себе представить, какое горькое разочарование постигнет эту семью, если они узнают, что человек, в котором они видели доброго ангела, пришедшего им на помощь в трудный час, оказался на самом деле бывшим вором!

Хоть я и обещал Ране, что буду навещать их, разве мог я забыть слова, которые говорил мне её отец: "Смерть нашего сына, только ещё вступившего в жизнь, меня подкосила, Иффет-бей. Но бывает куда более страшное горе. Рядом с нами живут соседи, и у них - сын. Ему нет и тридцати, а он уже дважды сидел в тюрьме. Вот я и думаю, что его отец куда более несчастен, чем я."

Когда я выходил из дому, Рана провожала меня и всё повторяла:

- Значит, мы вас ждём! Через три дня! Я надеюсь, что до отъезда в Конью вы к нам обязательно зайдёте!

И я отвечал:

- Обязательно! Через три дня! - хотя уже твёрдо знал, что никогда больше её не увижу.

Глава сорок четвёртая

То, что случилось в далёкой деревушке, оставило в моей душе неизгладимый след. Проходили дни и месяцы, а я всё не мог забыть Рану. Более того, я чувствовал, что люблю её всё сильнее и сильнее. О своей первой любви я перестал даже вспоминать. Мои мысли были обращены только к Ране, и при кочевом образе жизни, который я вёл, всегда думать о ней стало для меня необходимостью. Я знал, что никогда больше не увижу её, и всё же давал волю своему воображению. Постепенно любовь моя, рождённая в мечтах, превращалась в настоящий роман, - трясясь на вагонной полке в поезде, я, словно писатель, создавал новые главы, придумывал всё новые подробности, заставляя своих героев совершать удивительные поступки.

Если бы всё заключалось только в моих чувствах к Ране, не велика была бы печаль! Мой роман кончался трагически: я хоронил надежду быть любимым, я отказывался от своей мечты навсегда. По моему великому убеждению, любовь, прежде всего, означает веру в человека, - любимый человек должен быть самым благородным. Ну а я? Какой же я, в самом деле, герой? Жалкий, ничтожный человечиска!. Можно понять, что удаль разбойников с большой дороги притягательна - ведь это так романтично! Но воришка, который, крадучись, ночью лезет в квартиру, а затем попадает в полицейский участок, может вызвать только насмешку, чувство презрения. Кто же полюбит такого человека? Нет, я должен навсегда отказаться от своей любви, от надежды на дом, семью, очаг. А в утешение мне остаётся только кутить да веселить сердце случайными любовными приключениями.

В один из своих обычных приездов в Стамбул я решил навестить Махмуд-эфенди. Старый учитель был совсем плох: больные ноги уже не держали его, и руки не слушались, и говорил он с трудом. Жена его полгода назад умерла, он жил теперь с невесткой в страшной нищете. Бедной женщине приходилось работать (она обшивала холостяков) и вести хозяйство. Малыша отдали в приют, и мать страдала от разлуки с ребёнком. Она мне призналась тайком:

- Разве бы я согласилась отдать родное дитя, кабы не нужда превеликая. Уж как-нибудь постаралась и, вырастила бы его. А что мне оставалось делать? Отец теперь стал сам что дитя малое. Ни на час нельзя его оставить одного. Видно, голова у него не в порядке - перестал узнавать

соседей.

Меня, тем не менее, Махмуд-эфенди узнал сразу. Словно не веря своим глазам, он стал ощупывать дрожащими, сухими пальцами моё лицо, волосы, а потом расплакался, точно ребёнок.

В больном, немощем старце уже угас интерес к жизни. Он жил в другом мире, но прошлое ещё помнил очень хорошо. Сощутив глаза, будто вглядываясь в освещённую солнцем даль, он рассказывал о давно минувших событиях, вспоминая самые мельчайшие подробности.

Я просидел у него до самого вечера, он не отпускал меня. Да и мне, по правде говоря, тоже не хотелось уходить.

Давным-давно, когда мне было лет шестнадцать, я приехал как-то зимой к тётке в Дамладжик. Всё кругом было покрыто снегом, а я привык видеть эти места всегда летом, в радостных лучах яркого солнца. И увиденная мною картина вызвала во мне непонятную тоску. Теперь, вспоминая вместе с Махмуд-эфенди прошлые дни, я испытывал вот точно такое же чувство. Умрёт Махмуд-эфенди, сотрутся последние следы прошлого.

Когда я вышел на улицу, уже стемнело. Воскресный вечер был удивительно хорош. Я дошёл до трамвайной остановки Фатих, и тут мне вдруг захотелось прогуляться до того места, где стоял когда-то наш сгоревший особняк в Аксараяе. Вот в такой тихий час постоять па старом пепелище - всё равно, что посетить могилу близкого человека. Я свернул в переулок и зашагал мимо развалин и обгоревших руин в сторону Аксарая. Проходя мимо полусгоревшей мечети, я услышал шум перебранки.

- Я тебя заставлю вернуть часы и перстень! - шагах в сорока от меня орал грубым голосом мужчина. - Вот позову сейчас полицейского и отправлю тебя в участок, воровка паршивая!

Я подошёл ближе. В воровстве обвиняли какую-то женщину. Я не расслышал, что говорила эта несчастная, но, судя по жалобному и плаксивому тону, она, видимо, умоляла пощадить её.

Я замедлил шаг. Мужчина не унимался:

- А ну пошевеливайся, потаскуха! Отволоку сейчас за патлы в участок! Мало твоих подлостей, так ты ещё человека обобрала. Нечего тут слёзы проливать - не разжалобишь!

Завидев меня, женщина воспрянула духом, вырвалась из рук своего обидчика и бросилась ко мне. Но мужчина догнал её и, схватив за плечи, принялся отчаянно трясти.

Я вынужден был вмешаться, ибо человеческий долг повелевал мне заступиться за женщину.

- Что тут случилось, приятель? - спросил я. Передо мной стоял мужчина лет сорока, одетый в куртку и широкие шаровары. Он смерил меня взглядом с ног до головы и сердито ответил:

- Что случилось?! А вот эта потаскуха обобрала меня как последнего дурака.

Судя по всему, я разговаривал с человеком наивным и простодушным, - это придало мне смелости.

- Постой, постой, дружище, что-то я тебя не совсем понял. Надеюсь на поддержку, женщина тоже набралась смелости и начала жалобно лепетать:

- Ей-богу, бейэфенди, ни в чём я не виновата, ничего не брала. Мужчина упрямо покачал бычьей головой и угрожающе закричал:

- Это ты в участке расскажешь! Давай пошевеливайся! Не вводи меня в грех!

И, поняв, что тот не отступится, женщина с плачем повалилась перед нами на колени. Было жалко смотреть на это беспомощное существо, на худые плечи, вздрагивающие от истерических рыданий.

- Слушай, друг, - вступился я опять, - может, не так уж всё страшно, отпусти ты её с богом!

- Говоришь, отпустить? Нет, брат, таким место в тюрьме! Таких надо как следует учить, не то она ещё кого-нибудь обчистит, потаскуха эдакая! Понимаешь, пришла и давай крутиться около моей лавки, глазки строить. Поди разбери, брат, какая она?! На вид вроде женщина приличная. Зашла в лавку вечером, говорит - купить орешков. Стала заигрывать, кокетничать. Дело ясное! Кто же откажется, если сама навязывается? У меня во дворе, за лавкой есть чулан для товара. Говорю ей: "Заходи туда, я пока замок повешу", - думаю, не ровён час, ещё покупатель явится. Короче, закрыл я лавку, вхожу в чулан, и что вижу? На полочке лежали часы и перстень, - как водой смыло! Спёрла, потаскуха. Слава богу, больше ничего на полке не было. Тут женщина не выдержала и закричала плачущим голосом:

- Не воровка я! Ничего не было.

Она хотела ещё что-то сказать, но лавочник поднял над её головой руку и потряс здоровенным кулаком.

- Заткнись, шлюха! Связываться с тобой неохота, а то бы раздавил, точно гадину! Посидишь дней десять в тюрьме, наберёшься ума, воровка проклятая!

Женщина закрыла лицо руками и покорно поплелась за лавочником. Было стыдно и тяжело смотреть, как унижается несчастная перед этим грубым скотом, как беспомощно трясутся от рыданий её худые плечи под старым, вылинявшим платком.

Всё дальше и дальше уходили от меня лавочник и его пленница. Бедняжка покорно плелась, спотыкаясь на булыжной мостовой. Я стоял, смотрел ей вслед, на её поношенные туфли и стоптанные каблуки, и думал:

"Наверное, несчастной женщине лет двадцать пять или и того меньше. Совсем ещё молодая. Да, от такой жизни и за полгода можно в старуху превратиться. А что, если она, как и Рана, из хорошей семьи? Может, у неё брат погиб на фронте, дома осталась старая, больная мать и ещё маленькие братья-сёстры, которые ждут её и плачут от голода? Страшное отчаяние толкнуло её на дурной путь. Бедная девушка! Наверное, даже не знала, как таким ремеслом занимаются? Поди, думала, достаточно подвести глаза, нарумянить щёки, намазать губы и встать на углу - стоять и ждать, пока не подойдет богатый, добрый дядюшка. Наивная дурочка! Конечно, угодила в лапы подлецов, и вот теперь обречена таскаться по пустырям да глухим переулкам. Понимает ли она глубину своего падения? Отчего, бедняжка, плачет? Из страха перед этим скотом? Или боится попасть в участок? А может, вспомнила счастливые годы детства? Или же - братьев, которые теперь погибли на фронте ради счастья страны и семьи своей? Кто знает, возможно, были и другие причины, побудившие её вступить на скользкий путь. Может быть, какой-нибудь молодой человек, с которым она тайно встречалась? Мечтала с ним о счастье, а он вдруг погиб или умер."

Я уже сочинил целый роман и даже успел поверить в действительность своей выдумки. Лавочник и женщина сворачивали на другую улицу, когда меня вдруг осенила блестящая идея. И, побоявшись, что через минуту передумаю и откажусь от этой затеи, я кинулся их догонять. Решительно дёрнув лавочника за рукав, я спросил:

- Послушай, приятель, а сколько же ты потерял из-за неё?
- Пять бумажек, никак не меньше.
- Из-за пяти бумажек ты тащишь эту несчастную в участок? Подумай сам, ну не грех ли? Посадят её в тюрьму, занесут в чёрный список, и будет она всю жизнь с клеймом на лбу!

Лавочник зло покосился на меня, и я понял, что сейчас он мне скажет: "Знаешь, дружок, иди-ка ты своей дорогой, не суй нос не в свое дело." Поэтому я поспешил добавить:

- Эти пять бумажек я тебе заплачу, только ты отпусти её, ради аллаха!
- Лавочник оторопел от неожиданности. - А что тебе-то до неё?
- Понимаешь, хочу доброе дело сделать. Ну, а если ты отведёшь женщину в участок, что же ты тогда с неё получишь?
 - Это верно, ничего. Уж больно она меня разозлила, понимаешь.
 - Прости ты, приятель, её. Пусть с богом уходит. Вместе со мной

доброе дело сделаешь.

Лавочник задумался. Он, видимо, взвешивал, пристало ли ему брать с меня деньги. Я попытался рассеять его сомнения. Тогда он стыдливо отвёл глаза в сторону и проворчал:

- Ну, ладно! Пусть молит за тебя аллаха!

Он поспешно взял деньги и удалился, так и не осмелившись посмотреть мне в глаза.

Глава сорок пятая

Женщина смущённо поблагодарила меня, потом повернулась и пошла вдоль трамвайной линии по направлению к площади Беязида.

Не знаю почему, но я тоже повернул в сторону Беязида, и пошёл вслед за ней, шагах в тридцати позади. Навстречу нам шли мастеровые и фабричные, торговцы, возвращавшиеся с базара, и каждый норовил задеть эту женщину локтем, толкнуть её или заговорить с ней. Какой-то парень в синем камзоле дёрнул за край платка закрывшего её лицо.

Я плёлся позади и продолжал сочинять начатый мною роман, героиней которого была эта женщина.

"А сколько несчастная девушка перенесла на своём веку обид, оскорблений? Как ненавидит она людей! Только выпуталась из одной беды, уже опять к ней пристают. Есть ли у неё дом? Может, она не знает, где провести эту ночь? Или вынуждена искать нового клиента, какого-нибудь нового лавочника, чтобы не остаться голодной? Как тяжело, наверное, у неё на душе! Падшей женщине человеческие чувства не нужны, поди, их растеряла совсем. И в то же время как она тоскует, наверное, по любви, по счастью?

Вечером, вот в такой час, особенно остро ощущается одиночество, женская беззащитность. Представляю, как она удивится, если вдруг найдётся человек, который протянет ей руку и скажет: "Я тебя защищу. Спасу от этой жизни". Ну, а если я это сделаю?" Приди такая мысль мне в голову в другое время, я назвал бы её, конечно, детской выдумкой или даже глупым бредом. Но вечерний воздух, зажигающиеся фонари, тишина и неясный силуэт удаляющейся женщины вывели меня из душевного равновесия. Я уже не мог обуздать свою фантазию.

"Конечно, это безумие, - подумал я, - но благородное безумие! Безусловно, она решит: перед ней не обычный человек, а небесный ангел, ниспосланный аллахом. Помочь счастливому человеку — какой это подвиг! А вот протянуть руку тому, кто попал в беду, - это уж благородный поступок, достойный похвалы! И больше всего выиграю я сам. На меня смотрят с опаской, как на бывшего вора, а эта женщина будет взирать на меня с уважением и восхищением. Ведь ей тоже, наверно, приходилось воровать, и она на собственной шкуре знает, что человека споткнувшегося надо не стыдить, а поддерживать, не наказывать, а сочувствовать ему. Я возьму эту женщину под своё покровительство, сниму небольшой домик,

где-нибудь в тихом квартале, и она заменит мне друга и любимую."

Если бы женщина свернула за угол или на улице было больше народу, моё решение, как обычно, осталось бы только пустым намерением. Но она вдруг остановилась около фонарного столба и нагнулась, чтобы завязать шнурок ботинка. Деваться было некуда, - я поравнялся с ней и замедлил шаг. При слабом свете фонаря её лицо мне показалось красивым: строгим и в то же время кротким.

- Куда вы направляетесь? - спросил я, стараясь придать своему голосу солидность.

- К площади Беязида, - ответила она, не раздумывая.

- Вы что же, там живёте?

- Нет, у меня там подруга. Если застану дома, у неё и переночую.

Мы пошли рядом. Разговор не клеился, я не знал, о чём следует говорить.

- Послушайте, пойдёмте ко мне! - выпалил я совсем неожиданно не только для неё, но и для себя.

Я думал, что она испугается или смутится. Но она как ни в чём не бывало спросила:

- У вас есть куда идти?

- Я живу в отеле на Бейоглу. Сейчас возьмём извозчика.

- А туда пускают мусульманских женщин? - Вроде это не иностранный отель.

- Хорошо, если так. А то, не дай Бог, накроют. Из огня да в полымя.

Я всё ждал, что она смутится или почувствует неловкость. Её цинизм меня невольно покорибл. Но тут мы сели в извозчиью пролётку, неожиданное приключение уже захватило меня - и первое неприятное впечатление исчезло. Она заговорила первой, мы как раз проезжали по площади Беязида.

- Вот неудача. Если бы знала, что вечером попаду на Бейоглу, надела бы чаршаф поновей и лакированные туфли.

Я вопросительно посмотрел на неё.

- В Фатихе живёт наша старая служанка. Я ходила её навестить. Ну, а чтобы по дороге ко мне не привязывались, надела это старьё. А то ведь от мужчин прохода нет. Стоит только надеть что-нибудь получше, тут же начинают цепляться. Хорошо, если только свидание назначат.

Она болтала без умолку, весело смеялась, прижималась к моему плечу, - это было отвратительное зрелище! Только что жалобно плакала, а теперь хохочет во всё горло. А я-то думал: она забьётся в угол, умилённо будет лить слёзы от счастья. Какое там! Стала рассказывать басни о старой

прислуге и новых чаршафах. Может быть, она принимает меня за одного из своих уличных клиентов? Если это так, подумал я, то улыбаться клиенту - пусть сквозь слёзы - профессиональная необходимость.

- Сама удивляюсь, как я сегодня влипла в эту историю, - между тем продолжала женщина. - Неужто этот грязный боров, увидев меня в таком наряде, принял за обыкновенную шлюху? Я бы этого невоспитанного ишака поставила на своё место, да только не люблю связываться с собаками. Набрехал, будто я часы у него украла. Да таким, как он, я милостыню подаю. Часы украла, в лавку зашла покупать. В его вонючую лавку, право же, ей-богу, ногой ступить противно, не то что покупать. В участке этой собаке я бы такое показала, только ведь полиция у нас известно какая. Выкинут номер, а потом докажи, что ты не верблюд. Да я таких в лакеи не взяла бы. В Шухзадебаши есть купец Гаффар-бей, вы его знаете?

- Нет.

- Очень богатый человек. И молодой и красивый. С ума по мне сходит. Валяется у моих ног: "Лавка твоя, говорит, бери, что хочешь, Намие-ханым!" Стану я на этого поганого фруктовщика вешаться?! Два фунта гнилых овощей на прилавке, а он, вишь, нос задирает.

От этих слов у меня по спине мурашки пошли. Я перестал её слушать.

"Она ещё совсем ребёнок, - уговаривал я себя. - Опустившись на дно жизни, она не может рассуждать и говорить иначе. Нет, от своего решения я не отступлюсь. Надо разбудить в её душе чистые чувства. Пусть в этой Женщине воплотится мечта созидателя."

Глава сорок шестая

В годы войны на площади Таксим был отель, который содержал старик Эфтад-эфенди из Карамана. Здесь останавливались обычно купцы, приезжавшие из Анатолии в Стамбул по своим делам.

В отеле Эфтан-эфенди, как на бирже, заключались торговые сделки. Но славился он не купеческими махинациями, а тайными развлечениями, которые предприимчивый хозяин всегда был готов предложить своим клиентам, неумелым провинциалам, желавшим в столице покутить и повеселиться. Сегодня аданскому купцу в чалме, с седой бородой - святому на вид человеку - в полночь тайком приводили двух девиц. А следующей ночью, глядишь, уже устраивали шикарное угощение с музыкой и женщинами для конийского именитого гостя.

В отеле Эфтад-эфенди всем хорошо был известен номерной Лигор-ага, старый служитель, которому давно уже исполнилось пятьдесят, - вот он-то и ведал всеми тайными делами.

Лигор-ага знал меня как скромного молодого человека и был чрезвычайно удивлён, увидев в компании уличной девки. Пока я отдавал приказания, стараясь ничем не выдать своего смущения, он искоса поглядывал на мою спутницу и презрительно усмехался.

В ожидании обеда я предложил посидеть пока на просторном балконе, на который выходила моя комната, и полюбоваться Босфором.

От моего недавнего воодушевления не осталось и следа. Говорить уже не хотелось, и на бесцеремонные вопросы моей спутницы я отвечал мрачно и односложно.

- Ты чего же нос повесил, мой дорогой? - вдруг сказала она решительно. - Да ещё и привёл меня.

Я испугался, как бы она не поняла, что я раскаиваюсь в своём поступке, и поспешил ответить:

- Устал, наверное, да всё это происшествие меня расстроило. Тебя жалко, понимаешь? Как тебя зовут?

- Намие. А тебя?

- Иффет.

- Никогда не слышала, чтобы мужчину звали Иффетом.

- Скажи, Намие-ханым, тебе, наверное, такая жизнь изрядно опостылела?

- Как тебе сказать? Ко всему привыкаешь.

- У тебя никого нет?

- Отчего же? Отец мутасаррифом в провинции. Погоди, где же это? Запомню округ. Кажется, в Измите^[29]. Есть ещё дядя. Очень богатый торговец, денег у него - куры не клюют.

Она врала с такой же беззастенчивостью, как и по дороге, когда мы ехали на извозчике: миллионщик-дядя, богатые тётки.

Я положил ей руку на плечо и заглянул в глаза:

- Намие, дитя моё, не путай меня с другими. Я на своём веку тоже немало горя хлебнул. Испытал и нищету и голод. Я не стану тебя стыдить. От меня можешь ничего не скрывать. Я знаю, что и тебе пришлось пережить достаточно всяких бед, не так ли?

В ответ Намие вызывающе захохотала.

- Ну, что ты, парень, мелешь, смех один! Думаешь, меня нужда заставила? Ничего подобного. По своей охоте пошла, вот так-то! Живём один раз на свете. Будь здоров, дорогой!

Я невольно рассмеялся.

- Повторяю, Намие, не надо обманывать. Я знаю, ты много настрадалась. Вот, к примеру, зачем тебе были эти часы и кольцо? Ну, разве у тебя потянулась бы к ним рука, если бы.

- Ах, вот что! - рассердилась она. - Выходит, я воровка? Чудно вы говорите! Уж коли я решусь на воровство, так украду миллион, не меньше! Ей-богу! А такой дряни у меня полно в кармане.

- Я ведь сказал, что не буду тебя осуждать. Может, ты не поняла, в чём дело. Я хотел сказать, что у меня нет на это права. Я сам тоже вор. Я тоже украл чужие деньги. Шесть месяцев отсидел в тюрьме. Потом долго искал работу, но куда бы я ни обращался, везде я находил запертые двери. Вот так-то, девочка. Тебе не надо меня бояться или стыдиться.

Намие, удивлённо раскрыв глаза, слушала меня.

- Мы с тобой два несчастных человека, сбившихся с пути. Нам нужны слова утешения и понимания. И я хочу защитить тебя. Я сниму домик, и ты будешь жить в нём, пусть не богато, но зато честно. И не будешь больше таскаться по улицам, выслушивая оскорбления грубых, низких людей.

- Милок, - вдруг спросила она, глядя на меня как на сумасшедшего, - скажи, ради аллаха, ты что, пьяный, что ли?

Этот вопрос заставил меня, наконец, опуститься с неба на землю. Только теперь я понял, насколько поступок мой смешон, а слова бессмысленны.

"Ну и что с того? - сказал я себе. - Раз уж ты оплошал, глупая твоя башка, так хоть наверстай упущенное, - повеселись, как другие!"

Намие словно боялась, что я рассержусь на неё, и потому ластилась ко мне, кидалась на шею, гладила подбородок, стараясь проявить всё своё кокетство и умение.

- Ну, давай, мой миленький, проснись, скажи, чтоб принесли водки. А то ты у меня не развеселишься. Прикажи этому типу, у которого вместо носа баклажан!

Это она говорила про Лигор-агу, - нос у него действительно был длинный и фиолетовый, напоминавший зрелый баклажан.

Через двадцать минут стол был накрыт. Первый стаканчик Намие заставила меня выпить чуть ли не силой. А потом я уже не стал ломаться. Поддев привычным движением на вилку закуску, она совала её мне в рот, не забывая и о себе.

После третьего стаканчика я начал пьянеть. Намие подвинулась поближе ко мне, обвила рукой мою шею и поила меня собственноручно.

- Послушай, надо найти уд, я тебе сейчас станцую.

- Да здесь нельзя. Неприлично. Она удивилась:

- Что же тут неприличного? Кому какое дело!

С большим трудом мне удалось её отговорить от этой затеи. Но когда появился Лигор-ага с новым подносом, Намие опять завела разговор об уде:

- Наш бей, того и гляди, с тоски удавится. Давай, соколик, разыщи где-нибудь уд, приходи с ним, и мы попляшем!

Номерной с недовольным видом оборвал её:

- Пляши, да только не здесь. Свое искусство завтра покажешь в другом месте.

Намие очень обиделась, однако не нашлась, что ответить, и сочла за лучшее обратить дело в шутку.

- А что это у тебя, начальник, вместо носа баклажан растёт? На каком навозе такие выращивают?

Лигор-ага зло поглядел на неё и процедил с нескрываемым презрением:

- Не уважай я господина, я бы тебе сейчас показал на каком!

Поведение номерного задело меня.

- Ты брось, Литор-ага, - заметил я строго. - Можешь идти, больше ты тут не нужен!

Он, не торопясь, собрал грязные тарелки и вышел. Я недовольно поглядел на Намие.

- Ты плохо поступила, - пристыдил я её. - Зачем связываешься с такими людьми? Они ведь не подбирают выражения. Оскорбят тебя - а я опять расхлёбывай.

- Ах, оставь, милоч, опять ты за своё! Вот нашёлся бы уд, всё было бы хорошо! Вчера на Островах мы повеселились, так повеселились. И уд был, и скрипка, и кларнет или как её там зовут, эту дудку. В Аксарае парень есть, Длинным Ихсаном зовут, - он такой танец живота выдал - со смеху помрёшь! До самого утра веселились, только кузнецы из Трабзона нам всё испортили.

На жаргоне стамбульских апашей Намие стала рассказывать, какой скандал учинили трабзонские кузнецы. Многих её выражений я не понимал, и тогда она начинала изображать жестами. Всё больше пьянея, я слушал её вульгарный рассказ с удовольствием и хохотал до слёз.

В душе уже не было горечи, и мир казался теперь весёлым, смешным балаганом.

- Ох и жарко! С ума можно сойти! - вдруг объявила Намие.

Она сбросила туфли, сняла голубую блузу и осталась в одной грязной комбинации. Она всё подливала и подливала мне водки, заставляла пить, тыкая стаканом в рот, или пихала закуску, роняя её мне на рубашку и пачкая костюм. Потом Намие вдруг принялась петь хриплым голосом. Одной рукой она щипала меня за плечи, шею, руки, другой отчаянно жестикулировала, словно заправская певица, прищёлкивая в такт пальцами.

Хоть я и был уже изрядно пьян, однако сообразил, что всё это переходит рамки приличия, и заставил её замолчать. Мне было совсем невесело. И тут, уж не помню по какому поводу, мы сцепились опять, потом мне стало душно, я выскочил на балкон, простёр руки к холмам, из-за которых показался недавно родившийся месяц, и больше я ничего не помнил.

Когда я открыл глаза, уже светало. Я обнаружил, что тело моё лежит в комнате, а голова покоится на пороге балкона. Я продрог, голова налилась свинцом, тело ныло, губы пересохли.

Я с трудом встал и, шатаясь, вошёл в комнату. Свет ещё горел. На столе валялись пустые бутылки, перевёрнутые грязные тарелки. На краю дивана лежала Намие. Наклонившись, я посмотрел ей в лицо. Что это было за страшное создание! Краска расплылась и размазалась по грязно-жёлтой коже. Из безобразно раскрытого рта доносился храп. На шее слипшийся

грязный пучок волос, - концы их были жёлтыми от перекиси водорода, корни - чёрные. Время от времени она кашляла, и тогда выпиравшие ключицы начинали прыгать, словно хотели выскочить из груди.

Не помню, чтобы в самые чёрные дни мир предстал предо мной в столь отвратительном обличий! О такой ли ночи мечтал я, когда вечером шёл за этой женщиной вдоль трамвайных путей. Я собирался спасти падшее дитя из добропорядочной семьи. Излить своё горе. Свить в укромном месте Стамбула своё гнездышко. Я собирался воскресить это существо, в котором умер человек; возвратить его к жизни; заставить забыть те дни, когда она должна была бродить по улицам, подвергаясь унижениям и оскорблениям; сделать так, чтобы от нанесённых ей ран не осталось ничего, кроме, может быть, неизбежных шрамов. Я хотел совершить чудо. Два несчастных человека, на которых Стамбул наложил клеймо, начнут новую жизнь, очистив от скверны душу свою. Жалкий созидатель! Вот оно, твоё творение!

Глядя на женщину в предутренних сумерках, я понял, что предо мною труп, - это умерли мои надежды, мои мечты.

Я прикрыл полуголую женщину простыней и, как был, в одежде бросился на кровать. Голова гудела, тело дрожало от озноба. Я зажмурил глаза, которые обжигали слёзы обиды, и снова провалился куда-то в бездну.

Меня разбудил Лигор-ага. В руках у него была огромная миска:

- Я принёс ваш суп, Иффет-бей. Как бы не остыл. Ничего не соображая, я поглядел ему в лицо:

- Какой суп?

- Вы же просили суп из потрохов? Только что эта девка сказала: "Бей выпил лишнего. Просил поскорей принести суп из потрохов!"

- Я ничего не заказывал. А где она сама?

- Почём я знаю. Ушла. Она разве ничего вам не говорила?

- Нет, я спал.

- Вот стерва! Наверное, что-нибудь спёрла. Я бы её не выпустил, да она сказала: "Бей требует супа!" - вот я и поверил. Проверьте кошелёк, беим!

Кошелёк был на месте, но денег в нём не оказалось, семнадцать лир испарились. Часы она, видно, не решилась вытащить из жилетного кармана.

- Эх, беим, беим, - проговорил Лигор-ага, - разве с такими шлюхами можно связываться. Я ведь с первого взгляда понял, что это за птица. Надо бы в полицию заявить, да только неприятностей потом не оберёшься. Ведь это же отель! Да, теперь уж ничего не попишешь!

Глава сорок седьмая

Я служил в фирме уже второй год, когда однажды, вечером под праздник Рамазана, совсем неожиданно получил телеграмму от Музаффера: "Дело выиграно. Немедленно приезжай в Стамбул".

Я был поражён. Вертел телеграмму и так и этак, не веря своим глазам. Процесс тянулся уже много лет, и я потерял всякую надежду. Правда, брат в последние месяцы" часто писал мне, сообщая, что дело близится к концу. Месяц назад, когда я был в Стамбуле, он затащил меня к себе и долго рассказывал о всех деталях судебного разбирательства.

Поскольку Музаффер выказывал большую радость, я делал вид, что разделяю её, но, по правде говоря, мне не верилось, что всё это когда-нибудь кончится. Да и я не очень старался вникать в то, что говорил мне брат, покорно выслушивал его объяснения и, едва пробежав глазами бумаги и доверенности, подписывал всё, что мне подсовывали.

Увидя телеграмму, Джелаль очень обрадовался, он обнял и расцеловал меня.

- Ну, Иффет, ты спас свою шкуру. Я, наконец, могу быть спокойным за тебя, как отец, который удачно выдал замуж свою дочь.

Было решено, что завтра же я отправлюсь поездом в Стамбул. Мы просидели вместе допоздна. Занимаясь все эти годы торговлей, Джелаль стал чрезвычайно практичным. Он уже сделал кое-какие подсчёты, определил, сколько стоит теперь наш особняк и поместье, и сколько придётся на мою долю.

Однако действительность превзошла все ожидания. Поместье принесло куда больше денег, чем мы предполагали. Для такого человека, как я, это было настоящим богатством. С детства я никогда не думал о деньгах, не был алчным. К тому же я узнал, что такое нищета и голод, что такое радость, когда у тебя есть кусок хлеба. Эти деньги, словно свалившиеся с неба, меня сначала напугали, - о такой сумме я не мог даже мечтать.

И снова, как в самые тяжёлые дни моей жизни, на помощь пришёл Джелаль.

- Человек предприимчивый, - сказал он, - даже с таким небольшим капиталом может разбогатеть, вложив эти деньги в какое-нибудь прибыльное дело. Но ни ты и ни я не принадлежим к таким людям, которые способны пускаться на рискованные авантюры. Уж тем более ты - у тебя

такой вид, будто ты перенёс тяжелую болезнь. Я всегда говорил: жизнь тебя так испугала, что ещё неизвестно, когда это пройдет. Так что вложим пока деньги не в очень прибыльное, но зато верное дело.

Я поступил именно так, как посоветовал Джеляль. Только одному совету его я не смог последовать.

"Найди хорошую девушку и женись, - говорил он мне не раз. - Ты создан для семьи. Пойдут детишки, и ты забудешь обо всем на свете". - "Мне нужно сначала найти самого себя, - отвечал я ему с горькой усмешкой. - А там уж посмотрим". Но Джеляль не хотел понимать меня.

Я мог ещё ждать чего-то от жизни, но быть отцом — никогда. Я представлял семейный очаг иначе, чем другие. Отец, мать, дети должны любить друг друга самой чистой любовью, но как я мог требовать от них уважения, когда имя моё было запятнано. И если говорить правду, я привык к своему клейму, оно уже не казалось мне страшным. Я был равнодушен к тому, что знакомые люди считают меня бывшим вором. Но разве можно вынести, если так о тебе будут думать жена и дети.

Эти мысли я скрывал даже от Джеляля. Пусть он думает, что я навсегда спасён. Если же он узнает, что меня опять гложут сомнения, он будет мучиться вместе со мной.

Я поселился в доме с большим садом в районе Ченгелькёй. Невестка Махмуд-эфенди после его смерти осталась совсем одна. Я взял её к себе, и она вместе со старым садовником вела все моё хозяйство.

Первое время я чувствовал себя, словно землепашец, обходящий своё поле после того, как над ним пронёсся ураган. В отчаянии глядел я на страшные разрушения - в душе моей всё было сломано, исковеркано, уничтожено безжалостной бурей. Если раньше я был весёлым, беззаботным мальчишкой, то теперь я стал трусливым, мрачным меланхоликом. Когда-то я готов был смеяться и веселиться даже в толпе незнакомых мне людей, теперь я дичился близких друзей, которых любил, боялся открыться перед ними, замкнулся в себе. Прежде всё представлялось мне в добром свете, ныне я превратился в пессимиста, даже мизантропа. Прежде я безгранично верил в людей и всегда полагался на них. Ныне я уже не доверяю им и во всех сомневаюсь. И мне начинает казаться, будто люди сговорились, чтобы

причинять мне страдания. Теперь даже к людям страждущим и несчастным я не испытываю жалости, я прохожу, не замечая их.

Больше всего я люблю теперь мой сад и книги. Я вновь читаю запоем. Только когда-то мне нравились книги, исполненные человеческих страстей, веры, надежды, а ныне я предпочитаю произведения, в которых горечь и отчаяние.

Время шло. У меня появились новые знакомые, новые приятели. Под приятелями я подразумеваю, естественно, не друзей, понимающих и любящих друг друга, а хороших знакомых, с которыми можно, встретившись, поздороваться, побеседовать, вместе где-нибудь повеселиться и так далее. Пока вместе - вроде бы закадычные друзья, но стоит расстаться, и уже готова замена - ничуть не хуже прежнего приятеля.

После того как у меня появились деньги, тотчас же наладились и мои отношения с родственниками и прежними друзьями. Возвращение особняка и поместья, казалось, стёрло с меня клеймо. В глазах многих моих знакомых я снова стал честнейшим человеком. Тем не менее, порой случались разные происшествия и казусы, которые заставляли меня вспоминать о былом. К примеру, могу рассказать об одном.

Как-то раз нас с Музаффером пригласили в гости родственники его жены, жившие в Нишаиташе. В тот вечер среди гостей были и незнакомые мне люди. Зашёл разговор об одном богатом человеке, только что умершем, и хозяйка дома сказала:

- Вчера я была на аукционе, продавали с молотка всё, что осталось после покойного. Ценнейшие вещи шли почти что даром. За пять лир я купила две антикварные вещицы, которым цена, ну, право, более двадцати лир.

И тогда одна из гостей, пожилая дама, страстная любительница антики, пожелала во что бы то ни стало взглянуть на покупку. Но, словно назло, никак не могли найти ключ от шкафа, где лежали вещи. Любезный хозяин воскликнул:

- Всё это пустяки, сейчас сломаем замок. Принесли ножницы. Хозяин попытался открыть шкаф, однако безуспешно. На помощь ему поспешил молодой человек, полагавшийся на свои мышцы, но и на этот раз результаты были те же. Волей-неволей пришлось отказаться от этой затеи. Но тут один из моих знакомых, чиновник министерства иностранных дел, вдруг обратился ко мне:

- Попробуйте-ка вы, Иффет-бей!

Сказал ли он это потому, что рассчитывал на моё умение и опыт - ведь я был вором когда-то - или просто так, не подумавши, не знаю. На

мгновение в гостиной воцарилось ледяное молчание, но тут же беседа продолжилась с ещё большим воодушевлением.

Веселье шло своим чередом. Но мне было уже не до него.

Глава сорок восьмая

В той фирме, где я служил в Конье, был бухгалтер по имени Фазыл-бей, очень добрый от природы человек. Пока я жил в Конье, он мне всегда помогал, очень охотно приглашал к себе на обед, и когда я смущённо благодарил его, он отвечал: "Ничего. Ты гость у нас. Даст Бог, я приеду в Стамбул. Тогда ты поможешь мне тоску развеять".

И вот в один прекрасный день Фазыл-бей выполнил своё обещание: взял месячный отпуск и прикатил в Стамбул. Других знакомых, кроме меня, у него не было, и он с вокзала явился прямо ко мне. Я должен был бы радоваться гостю, ибо любил этого человека, но Фазыл-бей принадлежал к тем провинциалам, которые приезжают в Стамбул, прежде всего, чтобы развлечься и погулять. Он желал посетить все увеселительные заведения, одно за другим. Как я ни развлекал, как ни угощал его в своём доме, этого было ему мало. Волей-неволей я вынужден был исполнять при нём роль гида и сопровождать его по всем барам и театрам Бейоглу. После всего пережитого мне вовсе не хотелось показываться в подобных местах.

Однажды мы с моим гостем осматривали мечети и музей духовного управления, и, когда вышли на улицу, уже стемнело.

- Да, сегодня мы порядком походили и устали, - сказал Фазыл-бей. - А что, если нам отправиться в сад Тепебаши, выпить там пива, а заодно и музыку послушать?

В музыке мой гость ничего не смыслил, главное для него было поглазеть на женщин. Не найдя поблизости извозчика, мы стали пешком спускаться по улице Вефа. Неподалеку от моста Ункапаны нам попался, наконец, извозчик. Он дремал на козлах с кнутом в руках. Фазыл-бей легонько ткнул его палкой:

- В Тепебаши!

Извозчик лениво слез с козел и, бормоча сквозь зубы ругательства, открыл тугую дверцу экипажа. Фазыл-бей сел в коляску. Я поставил ногу на ступеньку, как извозчик вдруг радостно заорал:

- Вай, дорогуша! Кого я вижу! Надеюсь, ты не забыл меня? Да и как забыть, в кутузке не было двух Папаш.

Я удивлённо обернулся. Этот человек был одной из тюремных знаменитостей. Хотя он был ещё довольно молод, все его звали "Папашей Хидает". Он выходил из тюрьмы и снова туда возвращался за мелкие кражи или контрабанду опиума. Даже в тюрьме ему удавалось сбывать

заклученным сигареты, начиненные гашишем.

Положение у меня было щекотливое; я молчал, не зная, как поступить и что ответить. Папаша Хидает чуть ли не силой схватил мою руку и принялся трясти её, будто перед ним оказался лучший друг, с которым он не виделся целый век, потом выпалил:

- Ладно! После поговорим.

Мой старый товарищ по несчастью за эти годы сильно переменялся, усы и борода у него стали совсем седыми. Пока мы переезжали мост, я не находил себе места от стыда. Фазыл-бей знал мою историю, он понял, кто такой "Папаша", и, не спросив у меня ни слова, мрачно забился в угол.

У Папаши в тот вечер настроение было приподнятое. Он то и дело останавливался, задавал мне дурацкие вопросы, заговаривал с встречными извозчиками, лихо щёлкая кнутом, и безобразно бранился.

Когда, переехав мост, мы стали подыматься в гору, он вдруг остановился у греческого кабачка.

- Выпей моей водочки, угощаю! И бейзфенди тоже пусть не отказывается! Милости прошу! Ради аллаха! За таких, как ты, друзей душу отдать готов!

Опасаясь скандала, мы не решились обидеть его сердитым отказом, однако из коляски не выходили. Тогда Папаша кликнул кабатчика и велел подать ему три стопки водки. Гарсон с подносом подошёл к дверцам коляски; перед кабаком играла шарманка, - более глупое и смешное зрелище трудно было представить.

Папаша чуть ли не силой заставил нас выпить водку и опять поднял крик:

- А где закуска? Ну-ка, тащи сюда хлеба, маслин!

Бедняга Фазыл-бей! Нас можно было принять за подгулявших греков, эдаких сорвиголов, которые, возвращаясь с ярмарки, останавливаются у каждого кабака и, выпив водки, требуют музыки. Хорошо, что в этот час на улице было темно и безлюдно.

Мы облегчённо вздохнули лишь у ворот сада, когда избавились, наконец, от гостеприимного Папаши. Но беда ждала нас впереди.

Глава сорок девятая

Через некоторое время Папаша опять появился перед нашими глазами. Он еле держался на ногах. Пробираясь между столиками, он опрокидывал все попадавшиеся на его пути стулья.

И я, и Фазыл-бей - мы словно лишились дара речи. Папаша был без пиджака, он накинул его на плечи, рукава красной рубахи были закатаны до локтя. Одной рукой он налёг на наш стол, другой - опёрся на длинное кнутовище и, покачиваясь, возгласил:

- Ах, дорогуша! Вот видишь, опять встретились! Где я тебя только не искал. Всюду заглядывал. И нашёл всё-таки! Значит, судьба! От неё никуда не денешься! И лучше не перечить ей. Ну что вам стоило уважить бедного человека и выпить с ним по стопочке? Не снизошли! А всё почему, дорогой? А потому, что я, видите ли, извозчик. Разве можно так обижать человека?! У нас всегда найдётся пятак-другой, чтобы угостить друзей, дай бог им удачи!

Уже все окружающие смотрели на нас. Поняв, что от меня не будет никакого проку, Фазыл-бей сам попытался уговорить пьяного:

- Помилуй, братец, мы завтра вечером встретимся с тобой, и выпьем, и повеселимся. Папаша криво усмехнулся:

- Ах ты, бей мой милый, ну зачем сладкие речи ведёшь, доброго человека только обижаешь! Значит, пренебрегаете нами, хочешь сказать, недостаточно культурные мы для вас! Мы, конечно, люди бедные, но сердце у нас, зато, открытое, и в кармане всегда пятак найдётся.

Он вытащил из кармана грязные, мятые бумажки и показал нам.

- Дай бог всем удачи. Сегодня заработал несколько лир, хватит на вечер и нам, и друзьям. А завтра видно будет, аллах милостив. Всевышний и слепого волка в беде не оставит, и Папаше даст кусок хлеба. А вот эти деньги мы должны сегодня вместе прокутить.

Теперь настала моя очередь вмешаться. Уж как я только не старался уговорить Папашу, чтобы избавиться от него. Всё было бесполезно, он уже не понимал, что ему говорят. Видно, когда мы расстались с ним у ворот сада, он успел после этого не раз заглянуть в кабак, - и, знай себе, твердил одно:

- Мы должны непременно пропить эти деньги! Нечего оставлять их на завтра. А вдруг ангел смерти Азраил заберёт сегодня мою душу, что тогда делать, друзья? Хоть вы будьте милосердны! А вдруг я загнусь сегодня

ночью - и уплывут мои денежки к мулле Кямилю. Обмоет он моё тело грешное, а денежки прикарманит.

Рот его перекосялся, лицо сморщилось. Он принялся громко всхлипывать, и только глаза его оставались сухими.

- Не приведи Аллах такого! - растерянно пролепетал Фазыл-бей. - Не приведи аллах. Даст бог, завтра увидимся.

- Тьфу ты, господи, сила твоя! Да простится мне богохульство! - закричал Папаша. - Нет, ты что, аллах? Откуда тебе знать, что завтра будет?

- И стал рвать и бросать на землю свои деньги. - Лучше разорву, чем мулла их прожрёт. Лучше разорву, чем мулла их прожрёт. Мулла Кямиль.

Люди за соседними столиками смеялись, но были и такие, которые не скрывали своего возмущения.

Разорвав деньги, пьяный немного успокоился. Казалось, он сейчас уйдёт и оставит нас в покое. Но тут заиграл оркестр и всё испортил. Папаша, только что рыдавший по поводу собственной смерти, вдруг сразу развеселился.

- Наши денежки плакали! Туда им и дорога. Давайте, дорогие, ваша очередь угощать меня.

Он оглянулся, искал стул.

- Гарсон! Куда ты, к чёрту, запропастился?! А ну-ка, беги сюда! - заорал он во всю глотку.

Рядом за столиком сидела многочисленная армянская семья, их шляпы и пальто были сложены на стуле.

- А ну-ка, мадамы и мусью, уберите свое барахло! - приказал Папаша. - Людям сидеть не на чем.

- Здесь нам будет неудобно, Папаша. Давай переберёмся в какой-нибудь ресторан, напротив, - предложил я, рассчитывая, что при выходе мы сумеем как-нибудь избавиться от пьяного.

В это время появился гарсон в сопровождении здорового полицейского, которому наш разбушевавшийся скандалист был отлично известен.

- А ну, Папаша, - приказал он. - Убирайся отсюда!

- Я не сам пришёл! - смиренно ответил Папаша. - Вот приятели пригласили!

- Нечего болтать! - снова приказал полицейский. - Шагом марш!

Папаша обернулся ко мне.

- Ну, скажи, дорогуша, что я кому сделал плохого? Кого я потревожил? Хотел по-честному выпить стопку, не правда разве? Ну, скажи ты ему! Разве так защищают друзей?!

В растерянности я оглядывался по сторонам. И тут в пьяном сознании Папаши вдруг мелькнуло подозрение:

- А может, это ты свистнул полицию! Конечно, ты! Дал сигнал, чтоб меня выгнали! Ах ты, падло!

Папаша готов был броситься на меня. Но полицейский схватил его за плечи и потащил к воротам. Люди поднялись со своих мест, окружили его, а он орал всё громче и громче:

- Ты сам ведь ворюга! Думаешь, стал господином, коли навесил галстук на шею?! Не забывай, что сидел за решеткой, гад паршивый!

Фазыл-бей еле вывел меня из сада. Целый месяц после этого я провалялся больной.

Глава пятидесятая

Как-то в четверг я должен был встретиться с товарищем на площади Беязида. Сходя с парохода у Галатского моста, я уронил очки и разбил их. Время в запасе у меня ещё было, и я решил дойти до Бейоглу и купить новые. Когда с освещённой ярким солнцем улицы я вошёл в туннель фуникулера, глаза мои в темноте перестали что-либо различать. Я осторожно продвигался среди людей, словно слепец. Вдруг я услышал, как женский голос тихо позвал меня:

- Иффет-бей!

Сердце в моей груди замерло. Я сразу узнал голос Веди.

Конечно, мы жили в одном городе, и вполне естественно, что в один прекрасный день должны были встретиться. И, тем не менее, я был убеждён, что никогда больше её не увижу.

Она очень спокойно спросила меня, как я поживаю, сказала, что очень рада встрече со мной. И я отвечал ей и задавал вопросы так же спокойно. Сколько лет я готов был ради неё на всё! Отчего же теперь я так спокойно разговариваю с ней?

Казалось, мы боимся напомнить друг другу о прошлом. И сейчас мы, наверное, расстанемся, как чужие, лишь обменявшись несколькими пустыми, ничего не значащими словами. Но неожиданно разговор изменил своё направление. Я вдруг спросил её, куда она едет.

- За сыном, взять его из Галатасарая^[30]. В этом году я отдала его в интернат. Мы так привязаны друг к другу, не хотели расставаться, да вот пришлось. Мальчик требует, чтобы я ездила за ним и отвозила его непременно сама. Впрочем, у меня более важных дел и нет. Ведия чуть заметно улыбнулась.

- Как поживают старшие? - смущённо спросил я.

- Думаю, хорошо.

- Дочь ваша, наверное, уже барышня?

- Я давно её не видала.

- Почему?

Она подняла на меня глаза.

- У Джемиля Керим-бея другая жена. Мы расстались.

- Значит, вы разошлись?

- Мы всегда не очень-то ладили, вы же знаете. Вот уже год, как я живу у брата в Эренкёйе.

Толпа рассаживалась по вагончикам. Светским жестом Ведия протянула мне свою маленькую руку, затянутую в чёрную перчатку, и произнесла:

- С вашего позволения?

На Бейоглу я купил очки, но на свидание с приятелем так и не пошёл. Я был слишком взволнован и говорить о чём-нибудь другом, не имеющем отношения к Ведии, всё равно бы не мог.

"Когда я увидел её, то не почувствовал ни боли, ни сожаления. Как странно всё это! - думал я, вспоминая встречу. - Но это только начало, я знаю, прежняя рана в моём сердце откроется, и снова я буду страдать и мучиться. Зачем только я встретил её?"

До позднего вечера я бесцельно бродил по городу, а когда стемнело, заглянул в ресторанчик на открытом воздухе в парке, сел за столик и заказал пива.

Я сидел, слушал музыку, смотрел на ночное небо и пил. Фантазия моя разыгралась, и я, как обычно, начал сооружать воздушные замки.

"Это только казалось мне, что я забыл Ведию и даже будто смог полюбить другую, когда встретил Рану. Нет, ничего этого не было. Теперь-то я хорошо понимаю, что, кроме Ведии, для меня не существует ни одной женщины на свете. И она, конечно, не забыла меня. Она не могла забыть. Она любит меня. Она полюбила меня ещё крепче за долгие годы разлуки. Уж ей-то известно, какие муки я принимал ради неё. Для всех я - клеймённый вор, а для неё - Исмаил с мельницы Дамладжика. Теперь Ведия свободна. И нет никаких препятствий, которые могли бы помешать нам соединить наши жизни. Теперь у меня есть положение, ведь я уже не мальчишка, я человек обеспеченный, и нищета не грозит нам. Ничто не может помешать нашему браку. Мы будем любить друг друга до самой смерти, и пусть все говорят обо мне, что хотят. Это не имеет уже никакого значения, ведь человек, которого я люблю больше всего на свете, знает обо мне всё, как оно есть на самом деле. Может быть, в один прекрасный день причину моего позора, тайну клейма узнают и другие. И найдутся даже люди, которые будут жалеть меня так же, как жалели Исмаила с мельницы Дамладжика."

Оркестр играл тихую и грустную румынскую мелодию. Я закрыл лицо руками и, отвернувшись в тёмный угол сада, заплакал, точно ребёнок.

То была последняя ночь, когда сердце моё ещё переполнялось

надеждой, и я мог восторженно мечтать о будущем, а проснувшись на следующее утро, я увидел, что розовые мечты мои успели за ночь порядком поблекнуть. Но отступить от своего решения я уже не мог. Ведия может стать мне верной подругой.

В этот же день я узнал её адрес в Эренкёйе и написал коротенькое письмо, в котором просил её встретиться со мной по чрезвычайно важному делу.

Через два дня от неё пришёл ответ. Она сообщала, что согласна уделить мне десять - пятнадцать минут в пятницу на вокзале Хайдарпаша, - в этот день она поедет, как всегда, за сыном в лицей.

Ведия явилась точно в назначенное время. Мы сели на скамейку в пустом зале вокзала. Я приготовил целую речь. Но всё, что я хотел сказать, было предназначено другой женщине, прежней Ведии, и не имело никакого отношения к той, которая сидела передо мной. Ничем не показывая волнения, она спросила меня, в чём дело, и поглядела на часы.

Тогда, в темноте туннеля, я плохо разглядел её лицо. Теперь я хорошо мог увидеть, как постарела Ведия. Вокруг глаз, около рта появились усталые морщинки. Лицо её оживляли лучистые глаза, но только в них теперь металлическим блеском светились холодные разноцветные огоньки. Нет, это была не та Ведия, которую я любил! И всё-таки я очень серьёзно предложил ей выйти за меня замуж.

- Когда-то мы любили друг друга, - жалким голосом лепетал я, - у нас с вами столько общих воспоминаний. Вы свободны. Мы ещё можем быть счастливы вдвоём.

Ведия столь же серьёзно выслушала моё предложение, поиграла сумочкой и, подумав, ответила:

- Я старше вас. Мне почти тридцать пять. Я не представляю себе, чего вы ждёте от нашего брака.

Столь странный ответ удивил меня.

- Но разве мы не любили друг друга, Ведия-ханым?

- Да, но вы же не станете утверждать, что любите меня теперь так же, как и раньше. То, что мы с вами когда-то совершили, было чистейшим безумием. Если хотите знать правду, - мы оба были счастливы. Но разве за это нам пришлось мало заплатить? Я вам сказала, что я уже пожилая женщина. Но ведь и вы не прежний, Иффет-бей. И теперь вступать в брак было бы новым безумием.

- Я так не думаю!

- Сын мой вырос. Скоро он будет молодым человеком. У меня есть по отношению к нему обязательства.

Ведия приводила всё новые и новые причины, очень похожие друг на друга, но я понимал, что ни одну из них нельзя считать веской. Наконец мне удалось вызвать её на откровенность.

- С вами приключилось несчастье, - сказала она, - и если мы соединимся, что скажут люди?

Я горько усмехнулся.

- Скажут: Ведия-ханым вышла замуж за вора, взломавшего стол её мужа, не так ли? Но вы-то знаете правду.

Ведия растерянно поглядела на меня.

- Да, но. - Она не находила слов. - Я-то, конечно, знаю, но этого ещё мало. Джемиль Керим-бей любил повторять: "Молва сильнее правды". Этот брак поставит нас обоих в ложное положение. Если бы он был хоть результатом великой любви, а так... Стоит ли?

Наконец-то я понял её. Я вскочил с места, ноги у меня дрожали от волнения.

- Простите меня, Ведия-ханым, я причинил вам беспокойство. Нам больше не о чем с вами говорить.

- Прощайте!

- Прощайте!

Она медленно удалилась, не осмелившись даже взглянуть мне в глаза.

Свою жизнь я принёс в жертву пустой мечте.

notes

...мы величали его не иначе как паша-батюшка... – Паша — высший гражданский в военный титул; генерал, сановник в султанской Турции.

...стоял я со своей няней Кямияп-калфой... – Калфа - прислуга, нянька, подмастерье. Это слово может добавляться к имени собственному как женскому, так и мужскому, обозначая социальное или служебное положение.

и я снова чувствую себя прежним Иффетом – Иффет - женское имя, которое означает: "целомудрие", "честность".

...наш друг и наставник, Махмуд-эфенди... - Эфенди (также бей или бейэфенди) - господин, сударь; вежливая форма обращения; может прибавляться к имени собственному.

...Пусть Иффет хоть иногда у вас будет гостем, ходжа-эфенди, - попросили они учителя... – Ходжа - духовное лицо, мулла, учитель приходской начальной школы.

...когда он уходил совершать намаз... – Намаз - обязательная для каждого мусульманина молитва, которую совершают пять раз в день.

...заставлял разуваться и ложиться под фалаку... – Фалака - традиционный вид наказания на Востоке; к фалаке (колодке или деревяшке с веревочными петлями) привязывают ноги наказуемого и бьют палкой по голым пяткам.

...судили и сослали в Физан... - Физан - место ссылки в Ливийской пустыне, на севере Африки; эти владения Османской империи после Триполитанской войны 1911 года отошли к Италии.

...*Джеляль-агабей*... - Агабей - старший брат, почтительное обращение к старшему.

...наизусть читал мне стихи Намыка Кемалья... - Намык Кемаль (1840-1888) - известный турецкий писатель, поэт и общественный деятель, член тайного общества "Новые османы", ставившего своей целью принудить султана провести ряд буржуазно-либеральных реформ по европейскому образцу, в том числе принять конституцию.

...Я же мечтал поступить в школу Мюлькие... - Мюлькие - школа по подготовке гражданских чиновников.

...который сидел напротив него на миндере... - Миндер - подушка для сидения на полу.

...пропитан крамольным духом младотурок... – В конце XIX века в Турции возникло буржуазно-революционное, так называемое младотурецкое движение. Его участниками были представители интеллигенции, преимущественно офицеры и врачи, мелкие чиновники, выражавшие интересы буржуазии и либеральных помещиков. Главной политической организацией младотурок стал тайный комитет "Единение и прогресс".

...Я возвращался из Эйюб-султана... – Эйюб-султан - пригород старого Стамбула на берегу Золотого Рога, там находится знаменитое кладбище с гробницей Эйюб-султана - легендарного сподвижника пророка Мухаммеда, причисленного мусульманской религией к лику святых.

...О провозглашении конституции я узнал в Карамюр-селе... – В июле 1908 года произошла младотурецкая революция; под давлением армии султан Абдул Хамид II вынужден был принять ультиматум младотурок и объявить о восстановлении конституции 1876 года.

...сошлют на остров Митилена... – Митилена - остров Лесбос в Эгейском море, ранее входил в состав Османской империи.

...его выдвинули депутатом от того санджака... – Санджак - административная единица в султанской Турции, соответствовавшая округу, промежуточное между губернией (вилайет) и уездом (каза).

...раньше занимал должность мутасаррифа... – Мутасарриф -
начальник округа.

...родом из Румелии... – Румелия - европейская часть Турции.

...ко дню Хызыр-Ильяса... – День Хызыр-Ильяса (Ильи-Пророка) - праздник первого дня лета (соответствует русскому празднику егорьева дня).

...какие-нибудь пять курушей... – Куруш - мелкая монета, в одной лире - 100 курушей.

...конституция *триста двадцать четвёртого года*... – 324 или, точнее, 1324 год мусульманского летосчисления (хиджры) соответствует 1908 году нашего летосчисления.

...явиться к нему в его магазин на Галате... - Галата - район Стамбула, портовая и торговая часть Нового города.

...Я решил сам отправиться на Бедестан... – Бедестан - ряды на стамбульском Крытом базаре, где торгуют драгоценностями, оружием и антикварными вещами.

...он потерял руку под Чанаккале... – Чанаккале - город-крепость у входа в Дарданеллы, где произошли кровопролитные сражения между английскими и турецкими войсками в первую мировую войну.

...жили они в Бейлербее... – Бейлербей - пригород Стамбула на азиатском берегу Босфора.

...В бою под Чешме его ранило в грудь... – Чешме - город на Эгейском море.

...он служил артиллерийским офицером в Анадоукаваке... – Анадоукавак - небольшое местечко на Босфоре, крепость у выхода в Чёрное море.

...Кажется, в Измите... – Измит - город на Мраморном море.

...За сыном, взять его из Галатасарая... – Галатасарай - лицей в Стамбуле, старейшее учебное заведение, основанное в 1869 году на европейский манер; преподавание в нём велось на французском языке.